
ВПЕРВЫЕ
НА
РУССКОМ
ВИРДЖИНИЯ ВУЛФ
Virginia Woolf
МОЙ ЛОНДОН
ПОРТРЕТ ЛОНДОНА В ДНЕВНИКАХ И ЭССЕ
С КОММЕНТАРИЯМИ

Мой Лондон. Портрет Лондона в дневниках и эссе с комментариями

Вирджиния Вулф

Аннотация
Вирджиния Вулф. Мой Лондон
Введение
I. Дом 22 по Гайд-парк-гейт
Из автобиографического эссе «По адресу Гайд-парк-гейт, 22»
Из автобиографического эссе «По адресу Гайд-парк-гейт, 22»
Танцы на Квинс-гейт. (Запись в Дневнике. 1903 год)
Из автобиографического эссе «По адресу Гайд-парк-гейт, 22»
Танец в саду. (запись в Дневнике. 30 июня, вторник, 1903 год)
Экспедиция в Хэмптон-Корт. (запись в Дневнике. 5 июля, воскресенье, 1903 год)
Эрлс-Корт. (запись в Дневнике. 22 июля, среда, 1903 год)
Лондон. (запись в Дневнике. 1903 год)
Запись в Дневнике. 4 января, среда. 1904 год

Запись в Дневнике. 5 января, четверг. 1904 год
Запись в Дневнике. 8 января, воскресенье. 1904 год
Запись в Дневнике. 1903 год
II. Блумсбери
Из очерка «Старый Блумсбери», 1921–1922 годы (?)
Запись в Дневнике. 10 января, вторник. 1904 год
Запись в Дневнике. 6 января. 1915 год
Голдерс-Грин и Хампстед. (запись в Дневнике. Июль. 1907 год)
Отрывок из романа «По морю прочь» (1915 год)
III. Воронка от взрыва на Пикадилли
Запись в Дневнике. 1 января, пятница. 1915 год
Запись в Дневнике. 3 января, воскресенье. 1915 год
Из эссе «О глухоте к греческому слову», 1925 год
Запись в Дневнике. 20 января, среда. 1915 год
Запись в Дневнике. 1 февраля, понедельник. 1915 год
Запись в Дневнике. 8 октября, понедельник. 1917 год
Запись в Дневнике. 22 октября, понедельник. 1917 год
Запись в Дневнике. 6 декабря, четверг. 1917 год

Записи в Дневнике. 1918 год
Запись в Дневнике. 21 января, понедельник. 1918 год
Запись в Дневнике. 23 января, среда. 1918 год
Запись в Дневнике. 2 февраля, суббота. 1918 год
Запись в Дневнике. 11–12 ноября, понедельник – вторник. 1918 год
Запись в Дневнике. 19 июля, суббота. 1919 год
Эссе «Сады Кью». 1918–1919 годы
IV. Хогарт-хаус
Запись в Дневнике. 8 июня, вторник. 1920 год
Отрывок из романа «Комната Джейкоба»
Запись в Дневнике. 17 августа, вторник. 1920 год
Отрывок из романа «Комната Джейкоба»
Рассказ «Миссис Дэллоуэй на Бонд-стрит». (1923 год)
Запись в Дневнике. 9 января, среда. 1924 год
Запись в Дневнике. 5 апреля, суббота. 1924 год
V. Тависток-сквер
Запись в Дневнике. 26 мая, понедельник. 1924 год
Запись в Дневнике. 27 марта, суббота. 1925 год
Запись в Дневнике. 5 мая, среда. 1926 год
Запись в Дневнике. 6 мая, четверг. 1926 год
Эссе «Лондонское приключение». (1927 год)

Запись в Дневнике. 31 мая, четверг. 1928 год
Запись в Дневнике. 15 мая, среда. 1929 год
Запись в Дневнике. 28 марта, пятница. 1930 год
Лондон на сцене: шесть эссе о жизни Лондона (1931 год). Эссе «Лондонские доки»
Эссе «Оксфорд-стрит. Прилив»
Эссе «Дома великих людей»
Эссе «Аббатства и соборы»
Эссе «А ведь это палата общин!»
Эссе «Портрет кокни»
VI. Прощание с прежним Лондоном
Запись в Дневнике. 2 октября, воскресенье. 1932 год
Запись в Дневнике. Март. 1935 год
Запись в Дневнике. 28 марта, четверг. 1935 год
Запись в Дневнике. 30 марта, суббота. 1935 год
Запись в Дневнике. 1 апреля, понедельник. 1935 год
Запись в Дневнике. 27 июня, четверг. 1935 год
Запись в Дневнике. 23 июня, среда. 1937 год
Запись в Дневнике. 31 января, вторник. 1939 год
Запись в Дневнике. 24 сентября, воскресенье. 1939 год
Запись в Дневнике. 22 октября, воскресенье. 1939 год

Запись в Дневнике. 2 февраля, пятница. 1940 год
Запись в Дневнике. 16 февраля, пятница. 1940 год
Запись в Дневнике. 10 сентября, вторник. 1940 год
Запись в Дневнике. 13 сентября, пятница. 1940 год
Запись в Дневнике. 18 сентября, среда. 1940 год
Запись в Дневнике. 20 октября, воскресенье. 1940 год
Запись в Дневнике 29 октября, вторник. 1940 год
Запись в Дневнике 15 января, среда. 1941 год
Отрывок из эссе «Наклонная башня» (1940)
Список литературы

Аннотация

Вирджиния Вулф очень любила Лондон, любила гулять по его улицам и ездить в предместья. Лондон – полноправный герой многих ее произведений. В книге «Мой Лондон» фрагменты эссе, рассказов и романов Вирджинии Вулф с описаниями Лондона становятся его портретом, но они же составляют и автобиографию писательницы. Дополняют текст рассказы о самых интересных местах Лондона и самых любопытных его жителях.

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.



Вирджиния Вулф
Мой Лондон

Лондон – лабиринт наполовину из камня, наполовину из плоти. Его нельзя представить себе во всей полноте, его можно лишь пережить на опыте как дикую местность, состоящую из множества переулков, проездов, дворов и магистралей, где способен заблудиться даже самый искушенный лондонец. Еще одно любопытное свойство этого лабиринта состоит в том, что он непрерывно меняется и растет вширь.

Питер Акройд, «Биография Лондона»

Составление и комментарии *Мильды Соколовой*

Перевод с английского *Александра Ливерганта, Александра Русинова*

© Ливергант А. Я., перевод на русский язык, 2025
© Русинов А. Г., перевод на русский язык, 2025
© Издание на русском языке. ООО «Издательство АЗБУКА», 2026
КоЛибри®

Введение

Эта книга посвящена Лондону — и в неменьшей мере Вирджинии Вулф. Писательница родилась на сломе эпох, когда мир охватила промышленная революция, начали рушиться старые, казавшиеся вечными империи, стало меняться место женщины в социуме, появились первые движения за права женщин, да и людей в целом. Вирджиния Вулф жила в эпоху перемен в буквальном смысле — и в ее творчестве они отразились в максимальной степени, можно даже сказать, что ее творчество стало плодом перемен. А Лондон был ее родным городом, любимым, исхоженным вдоль и поперек, — поэтому ее наблюдения особенно ценны для поклонников ее творчества. В этой книге использованы ранее не переводившиеся и не публиковавшиеся материалы дневников Вирджинии Вулф, которые она вела с 1903 по 1941 год с небольшими перерывами, а также неопубликованные на русском языке эссе о Лондоне, выходившие в Великобритании отдельной книгой. Редакция благодарит Александра Ливергант, Александра Русинова, Кирилла Смирнова

за предоставленные для публикации материалы и переводы текстов Вирджинии Вулф.

I. Дом 22 по Гайд-парк-гейт



Хэмптон-Корт

Лондон давно обрел в нашем сознании ореол города не самого обычного — он существует сразу в нескольких временных пластах, в нем обитают многочисленные литературные герои, от героев Уилки Коллинза, Чарльза Диккенса и Артура Конан Дойла до гомункулосов из современных романов в стиле стимпанк — есть в этом городе что-то необыкновенное, что привлекает в лабиринты его улиц как хрупких красавиц, так и всевозможных чудовищ. Кто из нас не знает

основные приметы Лондона — снующих в густом тумане между двухэтажными автобусами и красными телефонными будками детективов, мальчишек-посыльных и Джека-потрошителя? А вот в творчестве Вирджинии Вулф этот город занимал совершенно особое место — был живым существом, со своим характером и привычками. Еще в детстве он стал ее лучшим другом и почти близким родственником: она радовалась и огорчалась из-за него, как из-за человека, беседовала с ним, очень скучала по нему, когда уезжала.

> «Здесь трубочистов юных крики / Пугают сумрачный собор / И кровь солдата-горемыки / Течет на королевский двор»[1].
>
> «В Лондоне вас могут надуть, обобрать и убить. Впрочем, на такие дела охотники повсюду найдутся»[2].
>
> «Меня мучила жажда новых впечатлений… И вот раз вечером, часов в семь, я пошел бродить по Лондону в поисках этого нового. Я чувствовал, что в нашем сером огромном городе с мириа-

---

[1] Примечания: 1

Уильям Блэйк, Песни опыта. Лондон, перевод С. Маршака.

[2] Примечания: 2

Чарльз Диккенс, Большие надежды, перевод М. Лорие.

дами жителей, мерзкими грешниками и пленительными пороками – так вы описывали мне его – припасено кое-что и для меня»[3].

«Я жажду попасть на переполненные народом улицы вашего величественного Лондона, проникнуть в самый круговорот суеты человечества, участвовать в этой жизни и ее переменах, ее смерти, словом, во всем том, что делает эту страну тем, что она есть»[4].

«Октябрь начинается с работы, а удовольствие приподнимает занавес над тем актом нашей пьесы, действие которого разыграется в Лондоне. Действующие лица могут меняться, а их роли отличаться, но неизменность сцены придает определенную целостность целому и на самом деле в немалой степени определяет нашу жизнь»[5].

---

[3] Примечания: 3

Оскар Уайльд, Портрет Дориана Грея, перевод К. Бальмонта.

[4] Примечания: 4

Брэм Стокер, Дракула, перевод Н. Сандровой.

[5] Примечания: 5

Вирджиния Вулф. Запись в Дневнике. 1903 год. Здесь и далее перевод текстов В. Вулф Александра Русинова.

Вирджиния Вулф, в девичестве Стивен, родилась 25 января 1882 года в Лондоне — и, как часто это бывает, родной город во многом определил ее судьбу. Стремительно менявшаяся реальность на протяжении всей жизни Вирджинии врывалась в ее семейный мирок — и ей удавалось погасить этот накал, преобразовав в увлекательный, насыщенный эмоциями текст.

А Лондон в конце XIX века неудержимо менялся под влиянием промышленной революции. Демонический, загадочный и потусторонне-опасный город Чарльза Диккенса и Оскара Уайльда избавлялся от тьмы, помойных запахов, мусорных свалок, обрастал транспортной инфраструктурой, бурно застраивался — он вступал в период Столицы Империи, превращаясь в того самого прародителя стимпанка, которого так любит искусственный интеллект.

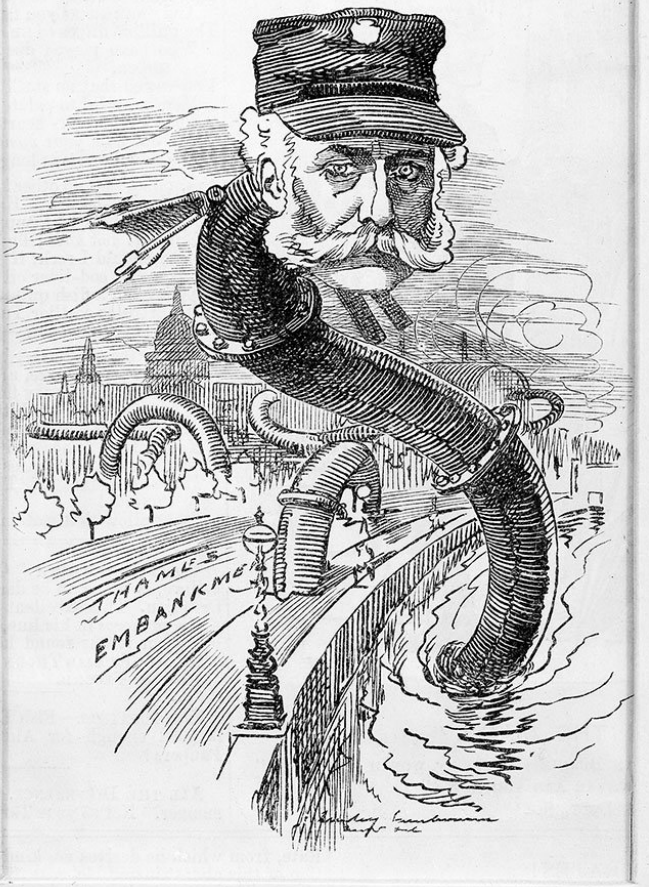


Лондонский мост между 1870 и 1890 годами

В конце XIX века Фридрих Энгельс, приезжавший в Лондон еще в 1840-х годах, с целью изучения ужасов жизни пролетариата, уже не смог бы заявить: «Повсюду кучи мусора и золы, а выливаемые у дверей помои застаиваются в зловонных лужах». Работы по строительству канализации по гениальному плану инженера **Джозефа Уильяма Базэлджета**, начатые после вспышек холеры и тифа жарким летом 1858 года

(так называемая «великая вонь»), к концу века дали заметные результаты.

Сэр Джозеф Уильям Базэлджет (1819–1891) – британский инженер, прославился созданием канализационной системы Лондона, одной из самых красивых и эффективных в мире – лондонцы до сих пор благополучно спускают воду в туалете благодаря его изобретению! Он остановил страшную эпидемию 1858 года, разработав сложную систему коллекторов и вдвое увеличив диаметр труб. Джозеф Базэлджет считался воплощением нового человека времен промышленной революции – кроме инженерии, он всерьез увлекался искусством. Помимо канализации, он построил несколько мостов и фантастически красивую Кросснесскую насосную станцию в виде средневекового собора в боро Бексли (сегодня она имеет статус памятника архитектуры) и получил в журнале *Punch* портрет в виде канализационного демона.


THAMES
EMBANKMENT

Карикатура на сэра Джозефа Базэлджета из журнала Punch

К концу XIX века вокруг Лондона заметно расширилась железнодорожная сеть, и темпы роста городской инфраструктуры стали беспрецедентными. Еще в 1851 году население города составляло чуть более двух миллионов человек, но к концу столетия превысило шесть с половиной. К 1900 году Лондон простирался примерно на 10 миль с севера на юг и на такое же расстояние с востока на запад. Многие из его пригородных районов сами по себе были небольшими городками, поэтому к середине 1880-х годов на дорогах Лондона курсировало более 12 тысяч омнибусов, перевозивших около 40 миллионов пассажиров в год. Промышленность требовала рабочих, и это стало причиной революции в транспорте: лондонец теперь работал на расстоянии, значительно превышающем пешую доступность от дома.

В 1890 году была открыта первая линия электрического метрополитена от Кинг-Уильям-стрит, недалеко от Банка Англии, до района Стоквелл. К 1903 году, когда 19-летняя Вирджиния начала путешествовать по Лондону самостоятельно, пыхтящие автобусы уже заменили омнибусы, влекомые испражнявшимися, что вполне есте-

ственно, лошадьми (еще в 1894 году газета Times поднимала панику — якобы через 50 лет улицы Лондона угрожают быть погребенными под трехметровым слоем навоза!). Буквально на глазах юной Вирджинии с улиц исчезли пресловутые газовые фонари, создававшие своим светом потустороннюю атмосферу в сине-сиреневом тумане. Вместо них засиял куда как более яркий **электрический свет**.

В 1879 году в Лондоне состоялся **суд над электрической лампочкой**! К середине XIX века большинство улиц освещались с помощью газовых фонарей, поэтому газовые компании были отнюдь не в восторге от нового изобретения. Парламентская комиссия решила провести разбирательство в форме судебного заседания. Свидетелями от газовщиков выступили: благородная дама, утверждавшая, что электричество делает ее морщинистой и бледной, и торговец рыбой, уверенный, что электрическое освещение мертвит улов и делает рыбу противной на вид. Приглашенный судом уважаемый доктор доказывал, что яркий свет режет глаза.

Но прогресс победил!

Проснулся к концу столетия и пролетариат, сильно выросший силой и числом за годы, прошедшие со времен исследования Энгельса: формировались требования политических и социальных реформ, вспыхивали забастовки, в которых участвовали и женщины, — например, в 1888 году работницы спичечной фабрики вышли протестовать. Протесты были вызваны тяжелейшими и даже опасными условиями труда, а также 14-часовым рабочим днем, низкой оплатой, чрезмерными штрафами. Вдобавок трудились девушки, вдыхая ядовитейший белый фосфор. В защиту работниц фабрики выступила писательница, будущая глава Теософского общества Анни Безант, которая опубликовала в газете статью «Белое рабство в Лондоне». В 1889 году бастовать начали неквалифицированные докеры, отстаивая право на улучшение условий труда, в 1893 году была создана Независимая рабочая партия, представлявшая интересы трудящихся, с 1911 года рабочим стали выплачивать пособия по болезни, инвалидности и безработице, а посещение школы их детьми стало обязательным.

Менялся досуг, становясь менее элитарным.

Пабы постепенно превращались в мюзик-холлы с танцами — а где танцы, там нужны женщины, постепенно занимающие все более важное место в общественной жизни и в работе. Стало больше театров и музеев; рост грамотности расширил рынок сбыта газет и книг, женщины пришли в издательства — среди них и журналист Вирджиния Стивен. А как стремительно изменилась мода в последнее десятилетие викторианской эпохи: платья упростились, линии сгладились под влиянием стиля модерн, символизировавшего отказ от сложившихся устоев и переход к новому веку. Платье свободно ниспадало вдоль бедер, расширяясь к низу и образуя форму колокольчика.



Мода 1920-х

Перемен требовали сердца жителей огромной столицы — в домах булькали ватерклозеты, телеграф и телефон превратились из чудес в неотъемлемые атрибуты городской жизни, офис полиции на Скотленд-Ярд стал именем нарицательным, поменялись все способы жизни, общения, передвижения, по улицам помчались машины. А ведь еще в 1842 году королева Виктория, проехав от Виндзорского замка до Лондона на поезде со скоростью 44 мили в час, попросила передать железнодорожникам, что поезд слишком уж несся. Все эти поразительные, волшебные и роковые перемены определили появление новой плеяды писателей-модернистов, выразителей новой эпохи в истории человечества, ее достижений и ужасов ее беспрецедентных конфликтов. Одним из ярчайших представителей модернизма стала Вирджиния Вулф — новая женщина в новом мире.

Родители Вирджинии, Лесли Стивен и Джулия Стивен (Дакуорт) жили на улице Гайд-парк-гейт, в доме номер 22, и именно здесь Вирджиния провела свои отрочество и юность и здесь училась всему, чему полагалось учиться викторианской девушке из хорошей семьи. Сама Вирджиния

называла свое семейное времяпрепровождение «школой викторианских гостиных и чайных церемоний».

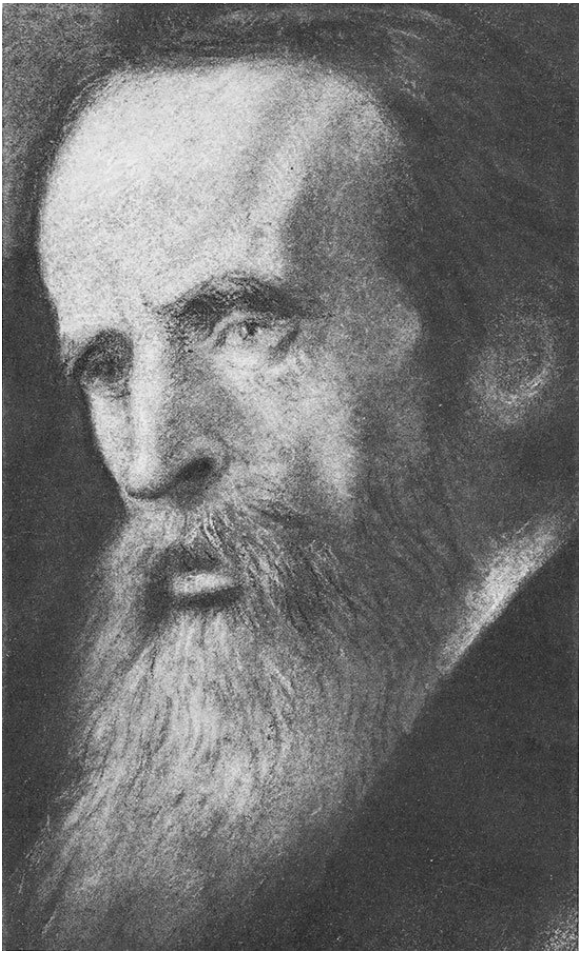
Из автобиографического эссе «По адресу Гайд-парк-гейт, 22»

<…> Все дома на Гайд-парк-гейт принадлежали отдельным семьям; одни были высокими, как наш, а другие, например дом Редгрейвов, низкими и длинными, почти деревенскими; у одних были сады, другие стояли прямо у тротуара. Постепенно дома стали стереотипными, с колоннами и помпезными фасадами, выходящими на главную дорогу. Как это ни удивительно звучит сейчас, я помню, что у одного из таких домов была карета, запряженная парой лошадей, с кучером и лакеем в напудренных париках, желтых плюшевых бриджах до колен и шелковых чулках. Потому что «в город», как говорил отец, можно было добраться только на красном автобусе или, если позволяли средства, на кэбе и в пролетке. Метро — пропахший серой, затянутый клубами пара туннель с поездами, которые, я полагаю, ходили довольно редко, — находилось далековато, на Кенсингтон-Хай-стрит или Глостер-роуд. Отец и мать всегда ездили на красном автобусе, так как дневные поездки в кэбе были для них

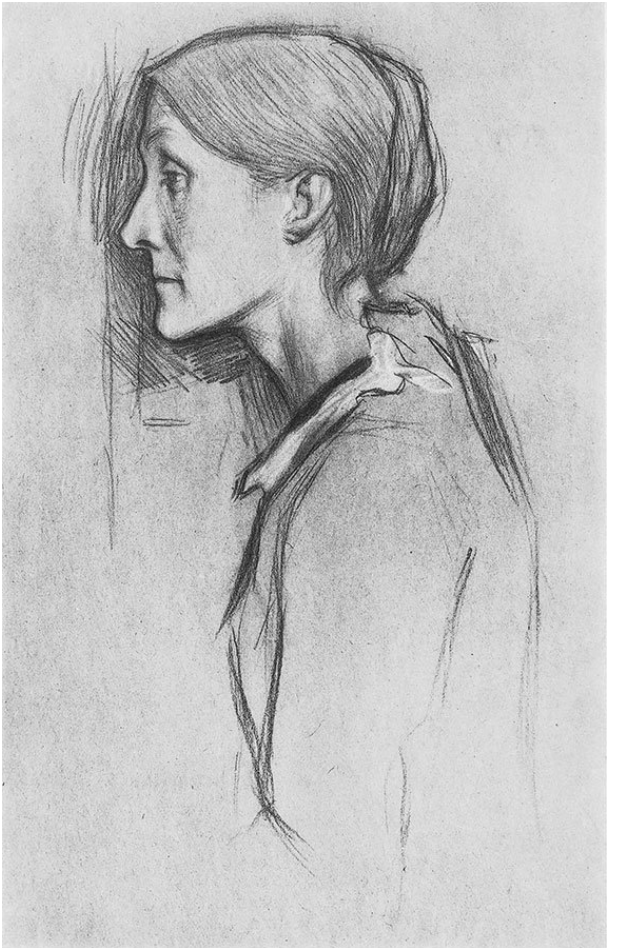
непозволительной роскошью. <…>

* * *

Отец Вирджинии, Лесли Стивен, историк и литературный критик (а еще он был альпинистом и одним из основателей Британской академии наук), исповедовал в молодости довольно радикальные взгляды — радикальные для Викторианской эпохи, конечно. В современной справочной литературе он фигурирует не только как отец писательницы Вирджинии Вулф и художницы Ванессы Белл, но и как выдающийся ученый. Его книга «История английской мысли в XVIII веке» используется специалистами и сегодня, поэтому явно атмосфера в доме Стивенов не могла не способствовать интеллектуальным занятиям детей.



Лесли Стивен. Пастель 1904 года. Автор неизвестен



Джулия Стивен. 1890. Художник Уильям Ротенштейн

В 1875 году умерла первая жена Лесли Стивена Харриет (она тоже имела прямое отношение к литературному миру — она была младшей дочерью Уильяма Теккерея), он впал в отчаяние, не подозревая, что судьба уже приготовила для него новую, страстную любовь. Незадолго до смерти Харриет познакомила его со своей подругой, красивой молодой вдовой с тремя детьми. Спустя всего три года Лесли Стивен и миссис Герберт Дакуорт, урожденная Джулия Джексон, поженились — в этом браке родилось четверо детей, два мальчика, Тобиас и Адриан, и две девочки — старшая Ванесса и младшая Вирджиния. Кроме них в доме на Гайд-парк-гейт, 22, жили еще трое детей Джулии от первого брака: сыновья Джордж и Джеральд и дочь Стелла, а также умственно отсталая дочь Лесли Стивена от первого брака Лора, внучка Уильяма Теккерея (позднее ее пришлось навсегда отправить в психиатрическую лечебницу). По мнению современных литературоведов, своих родителей писательница описала в романе «На маяк»: отец был умным и очень образованным, но властным и эмоционально ненадежным, и матери приходилось мириться с

его особенностями, хотя она сама не чуждалась творчества — писала детские рассказы, позировала знакомым художникам-прерафаэлитам и страстно занималась благотворительностью.

Детство Вирджинии в огромной семье было вполне беззаботным и счастливым, вплоть до трагических событий — скоропостижной смерти матери, а потом любимой сводной сестры Стеллы. У Вирджинии было семейное прозвище Козочка, отец и сестры называли ее «зеленоглазым ангелочком», и все вместе дети издавали журнал «Новости Гайд-парк-гейт».



W. Trevorrow.

TREGENNA PLACE,
ST. IVES.

Фото семьи Стивен — Дакуорт, 1889 год: Лесли Стивен, Тоби Стивен, Джордж Дакуорт, Ванесса Бел, Вирджиния Вулф, Геральд Дакуорт и Адриан Стивен


22

Дом на Гайд-парк-гейт. Фото А. Русинова

В **семейной газете**, которую дети Стивена выпускали с 1891 по 1895 год, Вирджиния, Тоби и Ванесса использовали формат своих любимых дешевых журналов и периодических изданий, таких как *Tit-Bits* и *Punch*. Они публиковали еженедельные семейные новости, короткие рассказы, полезные советы и рисунки. Исследователи творчества Вирджинии Вулф полагают, что бумагу дети добывали в старых бухгалтерских книгах. Этот детский опыт потом явно сказался на увлечении семьи Вулфов издательским делом и создании издательства *Hogarth Press* – даже в детстве Вирджиния очень тщательно относилась не только к содержанию, но и оформлению журнала, подбирала бумагу по цветам – некоторые номера были голубыми, а другие зелеными или желтоватыми. «Новости Гайд-парк-гейт», как писала позднее сама Вирджиния, показывает нам «обычную семейную жизнь, очень веселую, очень волнующую, полную людей».



Таблички на доме. Фото А. Русинова

С Лондоном, который она позднее назовет «драгоценностью из драгоценностей», Вирджиния познакомилась уже в самом раннем детстве — улица Гайд-парк-гейт, на которой стоял ее родной дом, располагалась в районе Кенсингтон, возле Гайд-парка — там Вирджиния с братьями и сестрами проводила в детстве свободное от учебы и домашних занятий время. Вот как она описывает **Кенсингтонские сады** и **Гайд-парк** в своих воспоминаниях о детстве.

Из автобиографического эссе «По адресу Гайд-парк-гейт, 22»

<…> Я не могу представить Кенсингтонские сады такими, какими видела их в детстве, потому что была там всего два дня назад — в холодный день, когда вишни казались зловещими в бледно-желтом свете грозы с градом. Я знаю, что в 1890 году сады были куда больше, чем сейчас. Начнем с того, что они не были соединены с Гайд-парком. Теперь же одно плавно перетекает в другое. Мы приезжаем на машине и оставляем ее у новенького киоска. А тогда в садах были Широкая аллея, Круглый пруд и Цветочная аллея. И тогда же — я еще постараюсь вернуться к тому времени — в садах было двое ворот: одни напротив Глостер-роуд, другие напротив Квинс-гейт. У обоих входов сидели старухи. Та, что у Квинс-гейт, была высокой, худощавой, с козлиным лицом, рябым и желтушным. Она торговала орехами и, кажется, шнурками для обуви. <…> Другая старуха была приземистой и толстой. К ней всегда был привязан огромный букет воздушных шариков. Эта пышная, вечно трепещущая

и крайне желанная масса держалась на тонкой веревочке. Ее шарики, красные и пурпурные, всегда видятся мне такими же яркими, как цветы на платье моей матери, и они всегда колыхались на ветру. Всего за пенни она отцепляла один шарик от своего букета, привязанного к поясу, и я кружилась с ним. Она тоже носила шаль, а лицо ее было сморщенным, как сдувшийся в спальне шарик, если он «доживал» до нашего возвращения домой… Букеты голубых и пурпурных анемонов, которые там теперь продают, всегда вызывают в памяти образ той трепещущей массы воздушных шариков у ворот в Кенсингтонские сады. <…>

Помню, в качестве развлечения мы давили ногами ракушки, которыми была усыпана Цветочная аллея. Ребристые раковины — будто с морского пляжа. Особняком стояло крокодиловое дерево — оно и сейчас там есть, на тропинке к памятнику Спику — с огромным обнаженным корнем, отполированным нашими руками, потому что мы постоянно карабкались по нему. Во время бесчисленных зимних прогулок мы, дабы развеять скуку, сочиняли длинные-предлинные истории, продолжая их по очереди. <…>

* * *

Кенсингтон – один из древнейших районов Лондона, первое упоминание о нем содержится в Книге Страшного суда 1086 года – своде материалов первой в средневековой Европе всеобщей поземельной переписи, проведенной в Англии в 1085–1086 годах по приказу Вильгельма Завоевателя, чтобы никто не скрылся от бдительного взора короля. До 1728 года **Кенсингтонские сады** были частью Гайд-парка: большой лесной массив в Кенсингтоне существовал еще до нормандского завоевания и долгое время принадлежал Вестминстерскому аббатству. Название Гайд-парк получил от древней единицы измерения площади, распространенной в легендарной англосаксонской Британии и называвшейся «гайда». Одна гайда равнялась величине земельного участка, достаточного для содержания одной семьи свободного крестьянина, – керла (например, кусок земли, который можно вспахать за день на восьми быках). В 1536 году король Генрих

VIII изъял лес в казну для собственных охотничьих развлечений. Доступ в парк для публики был открыт уже в XVII веке, при короле Якове I, а при Карле II стал излюбленным местом отдыха лондонцев, превратившись со временем в традиционное место политических митингов, празднеств и гуляний: само название «Гайд-парк» стало именем нарицательным для любого места политической активности.

Кенсингтонский дворец был построен сэром Джорджем Коппином в 1605 году в деревне Кенсингтон, и сначала это был просто особняк в якобинском стиле. Его выкупили король Вильгельм III Оранский и королева Мария II, искавшие загородную резиденцию, и поручили перестройку дома великому архитектору Кристоферу Рену. С XVII века дворец стал любимой королевской резиденцией – дом был окружен уединенными лужайками и величественными садами с прямыми дорожками и прямоугольными цветочными клумбами, согласно голландской садовой моде. В поэме «Кенсингтонский

сад», написанной в 1722 году, поэт Томас Тикелл населил его феями, а Уилки Коллинз в одном из рассказов – привидениями.

Памятник Спику был создан в 1866 году скульптором Филипом Хардвиком. Джон Ханнинг Спик (1827–1864) – офицер, исследователь Африки, открывший озеро Виктория и истоки Нила, типичный герой Редьярда Киплинга. Спик был человеком довольно отчаянным – участник Первой англо-сикхской войны, Крымской войны, в Сомали туземцы в него втыкали копья, он чуть не оглох из-за жука, забравшегося в ухо, страдал от тропических заболеваний, но неизменно возвращался на Занзибар или в Тибет.

По южной границе парков извивается улица **Гайд-парк-гейт** (она буквально описывает круг, этакий пузырь на карте города), на ней и стоял дом семьи Стивенс. Сегодня эта улица стала местом туристического паломничества, поскольку известна еще и тем, что на ней в доме 28 жили Уинстон Черчилль и его супруга баронесса Клементина Спенсер-Черчилль

в те времена, когда Черчилль был премьер-министром страны, – в этом же доме он и скончался в 1965 году. Баронесса возглавляла в годы войны «Фонд помощи России Красного Креста», приезжала в СССР и встретила Победу в Москве, где ее наградили орденом Трудового Красного Знамени.



Кенсингтон. Фотография первой половины XX века



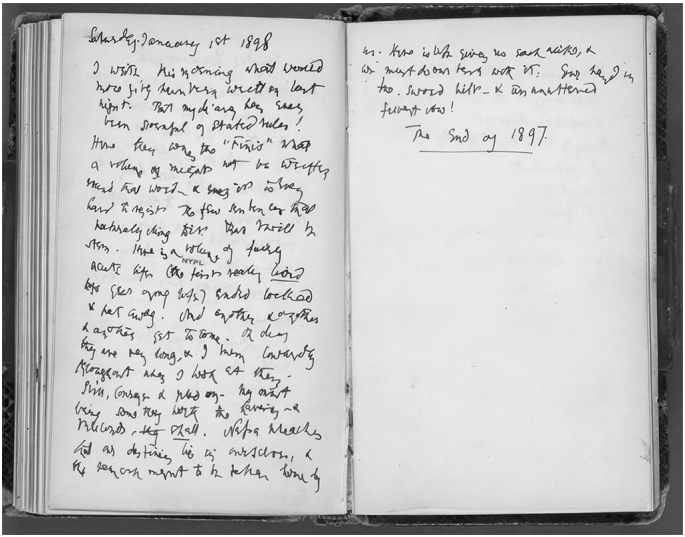
Вирджиния с сестрой Ванессой, 1893–1894 годы

С детством будущей писательнице пришлось расстаться довольно рано — в мае 1895 года скончалась ее мать, в июле 1897 года — сводная сестра Стелла, которая два года была всеобщей опекуншей и потому играла в семье очень важную роль. Вирджинии в этот момент было всего 15 лет.

Первый тяжелый приступ болезни, преследовавшей Вирджинию всю жизнь, случился с ней после смерти матери — современные психиатры предполагают, что Вирджиния страдала биполярным расстройством. Во время наиболее сильных приступов болезни ей даже приходилось ложиться в больницу или искать уединения в темном и тихом месте.

После первого приступа доктор Сетон рекомендовал Вирджинии побольше двигаться — в те годы одним из действенных средств против нервных расстройств считалась ходьба на свежем воздухе. Ею она и занималась в Кенсингтонских садах ежедневно, примерно по часу-полтора дважды в день. Кроме того, Вирджиния часто сопровождала сестру Стеллу в походах за покупками, встречала Ванессу, возвращавшуюся из Королевской академии художеств, — Кенсингтонские сады были неотъемлемой частью ее

жизни. Становясь старше, Вирджиния все чаще выходила на прогулки по городским улицам, постепенно — по моде рубежа веков — она начала вести дневник и записывала в нем основные события: «Мы с Адрианом и Стеллой поехали на автобусе на площадь Пикадилли-Серкус. Стелла оставила нас там, а сама отправилась на Оксфорд-стрит наносить визиты. Мы с Адрианом доехали на автобусе до Слоун-стрит и высадились там…» (одна из первых дневниковых записей 4 января 1897 года). Или вот еще совсем детское впечатление от прогулки по Ковент-Гардену: «Зашли в зоомагазин в районе Ковент-Гарден и увидели двух крокодильчиков — очаровательные создания…» (запись в Дневнике 7 января 1897 года). Пятнадцатилетняя Вирджиния гуляла по улицам Лондона практически ежедневно.



Дневник Вирджинии Вулф, 1897 год

По мере взросления Вирджинии картины нового, удивительного, меняющегося на глазах Лондона в ее записях становились все детальнее — уже в самом начале нового столетия они начали проступать сквозь строки, начертанные черными чернилами на белой нелинованной бумаге, — в дневниковой тетради в мягком переплете с ярлычком «Дневник/Гайд-парк-гейт/ 1903?». Вирджиния не обращала особого внима-

ния на технические достижения, они не занимали ее воображение — но создаваемая новыми веяниями атмосфера проявлялась в записях во всей полноте, ее решительно увлекал стремительно менявшийся вокруг мир. Вот, к примеру, уже девятнадцатилетняя Вирджиния лежит в кровати и не может заснуть из-за вечеринки в соседнем доме — лондонская молодежь устраивает танцы. Какие чудесные картины рождаются в воображении молодой писательницы — в них и волшебство, и драма, и даже иронично-зловещий намек на роман Брэма Стокера…

Танцы на Квинс-гейт
(Запись в Дневнике. 1903 год)

Около двух часов назад, лежа в кровати, я услышала то, что приняла за звуки веселья во внутреннем дворе. Играла скрипка, доносились громкие голоса и смех. Это напомнило мне, как однажды в детстве я проснулась глубокой ночью — мне было 8–9 лет, — услышала странную музыку, словно играла зловещая шарманка, и так испугалась, что была вынуждена ползти к соседней кровати за помощью. Я уже слишком стара для всеобъемлющего страха; мой критический ум, когда я окончательно проснулась и смогла соображать, решил, будто все звуки, включая музыку скрипки, доносились с бала, проходившего не на нашей улице, а на Квинс-гейт, высокие дома которой окружают внутренний двор. Музыка становилась все громче и ритмичнее, по мере того как надвигалась ночь и стихал грохот лондонских улиц, так что я открыла окно, вдохнула прохладный воздух, высунулась наружу и увидела огни в соседнем доме, откуда, собственно, и доносилась музыка.

И вот я слушаю ее уже целый час. Музыка затихает, я слышу разговоры, звучат женский смех и более глубокие нотки мужских голосов. Я вижу, как люди парами выходят из бального зала на балконы, освещенные маленькими лампами. Люди смотрят прямо на меня. Снова заиграла музыка — о боже, я чувствую, что ритм и переливы этого вальса способны заставить меня выпрыгнуть из постели и пуститься в пляс. Таково свойство танцевальной музыки, ее главное качество: она пробуждает какой-то варварский инстинкт, усыпленный нашей цивилизованной жизнью, — в миг забываешь о многовековой культуре и поддаешься этой странной страсти, заставляющей безумно кружиться по комнате и не обращать внимания ни на что, кроме ритма и покачивания ему в такт, туда-сюда, круг за кругом под звуки виртуозных скрипок. Словно стремительный поток увлекает вас за собой. Волшебство музыки. То тихая, то громкая и страстная, то выражающая сожаление, она всегда имеет один и тот же ритм. Мы танцуем так, словно осознаем всю тщетность. Мы танцуем, чтобы заглушить свои печали, но танцуем, танцуем, и если остановишься, то все пропало. В эту единственную ночь мы безумно кружимся в танце, а сердце бьется ча-

ще, появляется жизнерадостность, беспечность, дерзость. Разве что-то вообще имеет значение, если вовремя делаешь шаг, а все тело и разум танцуют, и что, спрашивается, может положить этому конец?

Затем, в самый разгар веселья, вдруг появляется какой-то странный отдельный звук, не принадлежащий мелодии, — это не скрипка и не торжественная труба, — нет, он не звучит диссонансом, а будто доносится из другого мира и времени — часы бьют час.

В церкви раздается звон. Он сообщает лишь одно, нарочито, не заглушая музыку, однако же звуча чисто и совершенно отчетливо. Вихрь вальса не заглушил его, ибо не имеет власти над ним. Танец ускоряется, близится к завершению и в итоге закручивается с размахом — танцоры замирают на месте, задыхаясь и смеясь; все устремляются на свежий прохладный воздух. Я снова слышу их голоса — кто-то громко смеется, — они доносятся до меня вполне отчетливо, хотя слов не разобрать. Что ж! Я не участвую в танцах, зато наслаждаюсь ими.

Ну вот, я устала от шума и болтовни, откинулась на подушки и погасила свет; лежу в прохладе и смотрю в открытое окно. Через мгновение,

если захочу, мне больше не нужно будет думать о танцорах. Я вглядываюсь в жуткое ночное небо — так темно, что не видно ни одной звезды. Полагаю, так сегодня везде, по всему небосклону; вдруг снова доносится музыка! Маленькие храбрые смертные играют на скрипках и танцуют. Мне нравится лежать здесь, но есть и еще кое-что приятное.

Я вижу большой стеклянный световой люк, под которым, я полагаю, танцоры проводят время за распитием шампанского и поеданием перепелов, — во всяком случае, за стеклом виден яркий свет, словно какой-то прозрачный желтый шар в ночном воздухе. Из своей постели я вижу очертание листвы деревьев на фоне этого окна. Не знаю почему, но эта несочетаемость искусственных огней, музыки, разговоров и деревьев снаружи прекрасна и очень привлекательна для меня.

Снова музыка! Признаться, я устала. Я больше не могу танцевать душой, и мне не кажется, что скрипачи играют с таким же задором, с каким начинали. В конце концов, они не вдохновенные боги, призывающие людей к более радостному и чувственному существованию, к танцу длиною в жизнь и вечность, — эти бледные и, возможно, тучные мужчины играют на скрипках каждый

вечер, работая часов до трех, а сами ждут лишь окончания программы и пива. Они играют на скрипках каждый вечер, и это часть бизнеса — смело и непринужденно водить смычком по струнам так, будто их руки направляет сам Господь. Вальс затянулся — пульс учащается — слышите? — звонят церковные колокола — раз-два-три.

Часы не спешат — они могут подождать еще, — ни один вальсирующий не перетанцует их. Но скрипачи — мои мысли возвращаются к ним, — есть в них что-то мрачное; они играют каждый вечер, возможно, одни и те же мелодии, но все время для новых танцоров. Они не очень-то верят в свою игру и чудесные свойства скрипки. Рискну предположить, что зарабатывают они гроши, и все же ночь за ночью они сидят в своем углу и заставляют пары танцевать вокруг причудливым узором. Они распаляют их мысли; заставляют мужчин и женщин мечтать о любви, свободе и жизни, двигаясь в ритме и музыке вальса.

Но сами скрипачи не верят ни единому слову. Они смотрят по сторонам усталыми разочарованными глазами — в ноты им глядеть не нужно, ведь они знают их наизусть, равно как и танцоры. И все же отступать от партитуры нельзя. Пока

люди будут танцевать, скрипачи должны играть. Они единственные, за исключением усталой вдовы с ревматизмом, кто действительно радуется, когда танец заканчивается и все гости возвращаются от экстатичного кружения в вальсе к более или менее обыденной жизни. Я вижу, как люди откидываются в своих креслах, прикрывая зевоту, которая, они точно знают, совершенно не вяжется с божественностью, и теребят в руках часы. Снова музыка! Мне начинается казаться, что кто-то завел ужасную шарманку, и она будет играть с перерывами всю ночь. Теперь я уверена, что никто не танцует или все еле волочат ноги, потому что, пока звучит музыка, они обязаны танцевать, и тут уж ничего не поделаешь. Музыка, которая раньше звучала тихо, теперь явно набирает силу и скорость, звуча все громче и быстрее, — теперь никто не может перестать танцевать. Музыка затягивает людей. Какими уставшими они, должны быть, выглядят, эти бледные мужчины, женщины в предобморочном состоянии; мятые шелка и растоптанные цветы. Не они теперь танцуют — скорее, танец обрел над ними власть. В нем больше нет радости и жизни — он стал дьявольским, извивающимся мертвенно-бледным змеем, корчащимся в холодном

поту и агонии и душащим хрупких танцоров в их конвульсиях. Что же вызвало эти перемены? Рассвет.

Наконец-то я прекращаю писать и снова смотрю на небо. Сейчас без четверти три. Я уже говорила, что оно было мрачным и трагичным, но теперь оно еще ужаснее. Ибо небо смертельно бледное, но живое; оно целомудренное и очень чистое, а ветерок ледяной, как будто он дует с полей, которые никогда не согревало солнце. Рассвет осыпает мир чистыми утренними приветственными поцелуями. Ни один фонарь не может гореть в этой сияющей белизне, никакая музыка не зазвучит в паузе, в этой ужасной тишине. Танцы окончены.

Из автобиографического эссе «По адресу Гайд-парк-гейт, 22»

<…> Дорога вниз по улице кончалась тупиком, и наш дом стоял прямо у глухой кирпичной стены. Гайд-парк-гейт, которая никуда не ведет, а лишь образует небольшую петлю, отходя от большой дороги, ведущей из Хаммерсмит к Пикадилли, напоминала сельскую улицу. Всегда было слышно, когда кто-то шел по тротуару. Большинство прохожих кланялись друг другу при встрече. Моя комната находилась в задней части нашего очень высокого дома. <…>

* * *



Улица Квинс-гейт

Улица **Квинс-гейт** проходит параллельно Гайд-парк-гейт — поэтому Вирджинии звуки музыки и танцев из соседнего двора были отлично слышны, особенно в ночи, а уж колокол церкви и подавно.

В следующей дневниковой записи, всего спустя пару дней, Вирджиния снова описывает танцы лондонской молодежи — на этих она побывала лично и очень образно воссоздала атмосферу

беззаботных развлечений столицы империи до страшных потрясений XX века.

В свет юных Вирджинию и ее сестру Ванессу выводили сводные братья — **Джордж и Джеральд Дакуорты**. В воспоминаниях Вирджинии Джордж получил убийственную характеристику: «По правде говоря, Джордж был необычайно глуп… его тайные мечты сводились к тому, чтобы жениться на женщине с бриллиантами, иметь кучера с пуговицами из слоновой кости и бывать при дворе». Джордж был фанатом аристократии и считал, что, как будущий аристократ, должен заботиться о светской жизни сестер и прививать им соответствующие манеры (получалось не очень). Он возил девушек в приличные гости и на мероприятия, не без пользы для себя самого — Джорджу очень даже удалось достичь вожделенных целей: женился на аристократке и стал крупным чиновником, «все как у людей». Он же, со своим архаичным отношением к женщине, стал и источником кошмарной травмы Вирджинии — в детстве использовал ее для плотских утех (конечно, юридических доказательств этого не существует, но образ Вирджинии подсказывает, что она не была склонна к клевете). «Ведь общество, в котором мы жили, оставалось викто-

рианским, а отец был типичным викторианцем. Джордж и Джеральд также были убежденными викторианцами. Так что нам приходилось вести с ними сразу две борьбы: одну — как с людьми, а другую — как с представителями эпохи. Можно сказать, что мы жили в 1910 году, а они все застряли в 1860-м», — метко и проницательно поставила она диагноз уже в 1930-е в «Моментах бытия». Джеральд, по признанию Вирджинии, «представлял в этом соревновании интеллект» — он сохранил отношения с ней и в зрелом возрасте, в отличие от старшего брата, и даже стал ее первым издателем. В юности Вирджинии светские мероприятия были до определенной степени в тягость — она с удовольствием бы участвовала в них на равных, но в качестве предмета обстановки это было просто скучно, а все попытки высказаться встречали возмущение и осуждение со стороны знакомых дам Джорджа. «Я не знаю, как это делается, — писала она. — Мы не пользуемся популярностью, а просто сидим в углу, безмолвные и мрачные, словно ждем похорон». Однако в дневнике у нее получилось забавное эссе про платья, дизайн эпохи модерна, ухаживания в ночном Лондоне.



Фотография 1892 года. Стоят: Джеральд, Вирджиния, Тоби, Ванесса и Джордж. Первый ряд: Адриан, Джулия, Лесли

Танец в саду
(запись в Дневнике. 30 июня, вторник, 1903 год)

Вчера вечером я высунулась из окна и приняла участие в энергичных танцах на Квинс-гейт. Я как раз вернулась с настоящих танцев, куда ходила по старинке. Честно говоря, танцевать у окна мне нравится гораздо больше. Начнем с того, что для танцев нужно приличное платье, и это само по себе наказание, тогда как вчера вечером я могла лежать в расстегнутой ночной рубашке и с распущенными волосами, как сейчас. Я часто думаю о том знаменитом художнике [?], который работал исключительно в одном наряде и имел гардероб на все случаи жизни. Да, я терпеть не могу изысканные платья, но знаю, что они придают мне определенный светский вид и что в них я готова говорить о танцах, погоде и прочей ерунде, которую, будучи одетой в ночную рубашку, считаю скукой. Красивое платье добавляет притворства, готовности сверкать, слушать музыку, принимать этот фальшивый взгляд на жизнь, которая представлена в бальном зале; на

жизнь, увиденную в электрическом освещении и пропитанную шампанским.

Филлиморы, которые устроили танцы, недавно переехали в очень просторный дом на Камден-Хилл. По-моему, у их дома один из самых больших садов в Лондоне. Это белый просторный дом, который легко красиво обставить и сделать живописным, если есть вкус. Однако Филлиморы скорее стремятся к комфорту и солидности. Стены в их доме малиновые, а сами они предпочитают красить большие плоские поверхности в благородный зеленый цвет. В двух спальнях, где мы положили свои плащи, я заметила большие распятья, висящие над изголовьем кровати. Как типично. И все же писать я буду о танцах. Мы, как обычно, с трудом протиснулись через дверной проем; пожали крепкую женскую руку. Хозяйка поприветствовала нас с улыбкой, хотя уже успела потратить немало сил на пятьдесят других гостей, но все равно должна была исполнять свои обязанности еще целый час, а мы оказались в плотной толпе людей. Все они тесно жались друг к другу, пытаясь познакомиться, спросить «как поживаете?», схватить друг друга за руки и талии и, наконец, выскочить в центр зала, чтобы вальсировать. Танцоры в этом небольшом

пространстве двигались по кругу и со стороны напоминали мух, борющихся за жизнь в блюде с липкой жидкостью. Мы медленно пересекли комнату, потому что стоять на месте было невозможно, и подошли к окнам. Тогда мы остановились и огляделись по сторонам с циничным хладнокровием молодежи, слегка взволнованной, но решившей не показывать волнения. Но на самом деле мало что могло там взволновать даже юнцов. Ни одно зрелище в мире не навевает такой тоски и уныния, как комната, полная незнакомцев. Возникает ощущение, что они удивительно некрасивы, скучны или плохо одеты. В любом случае вы как-то объединяете их. Именно так я и поступила сегодня вечером, чувствуя приятную отстраненность и возможность критиковать выходки гостей с безопасной дистанции.

Что ж, длилось это недолго. Вскоре к нам подошел джентльмен средних лет, полноватый, с рассудительным видом старика. Я с трудом вспомнила его, и тогда он внес разумное предложение прогуляться по саду. Ни у кого из нас не было желания танцевать, даже умей мы вальсировать. Так что я вышла вслед за ним на лужайку. Он был собеседником, который позволял думать и впитывать впечатления, не мешая говорить

или слушать. Он шел рядом со мной, не то чтобы совсем молча, но явно не пытаясь придумать, что сказать. Я оглядывалась по сторонам и говорила, если что-то поражало меня. В тепле было бы просто идеально, а вот в саду стоял холод и трава была слишком сырой. Грациозные дамы с опаской приподнимали юбки, а не распускали их, словно павлиньи хвосты. Тем не менее это было весьма необычное живописное зрелище. На кустах, беспорядочно разбросанных по саду, висели разноцветные китайские фонарики. Они давали немного света; из дома лились потоки света, смеха и, конечно, танцевальной музыки. Я снова обратила внимание на странное сочетание двух видов света — рассеянного и бледного от неба и желтого от ламп и свечей, — вместе освещавших зеленые листья и траву. Свет создает странный неестественный эффект. Мы степенно гуляли по саду, затем повернули назад и расположились возле дома. Согласились, что оба выбирали место, с которого удобно наблюдать за остальными гостями. Нам почти нечего было сказать друг другу, так что говорили мы в основном о чем-то внешнем и поверхностном, связанном с вечеринкой и звуками. Я довольствовалась тем, что лежала в шезлонге и смотрела, как дамы в

своих воздушных платьях проходят мимо и возвращаются обратно в дом, выглядывают из окон и скользят в своих кружевах и шелке вниз по склону. Это напоминало какую-то французскую картину. До нас постоянно доносился слабый гул разговоров и смеха. Никто не подходил достаточно близко, чтобы помешать нам своей болтовней. Мой спутник был прямолинейным немногословным человеком, именно таким, каким он мне и показался (выяснилось, что он директор Банка Англии), спокойным, молчаливым, приятным, — отличный компаньон для прогулки по саду. Наконец он, слегка зевая, очень вежливо, хотя и не слишком учтиво, сказал, что ему пора. Он отвел меня в гостиную и оставил. Я оказалась рядом с Джеральдом, у которого уже пропал интерес к танцам; в компании он предпочитает играть роль благосклонного дядюшки, и получается неплохо, ведь этот типаж всегда востребован.

Танцевальное пространство съежилось до минимума, а движения танцоров были сильно стеснены. Если бы половина гостей вздумала пуститься в пляс, никто бы просто не сдвинулся с места. Сад же вместил всех желающих; к столам с закусками было не пробиться. Я заметила, что на танцах Джеральда по-прежнему интересует

только еда. Он взбодрился, когда пришло время решать важнейший вопрос: где мы будем ужинать и что есть?! Он занял два отличных места и послал официантов за перепелами и шампанским, как будто сидел за любимым столиком в *Savoy* и обратился к личному официанту, который его всегда обслуживает.

Я установила лимит пребывания на вечеринке — до часу ночи — и всю дорогу в кэбе тщетно пыталась уговорить остальных соблюдать его. Однако, к моему удивлению, мы легко собрались и уехали. Причин задерживаться просто не нашлось.

Вскоре наша пролетка подъехала к дому, и в целом мы были довольны вечером, но не более того. Сейчас я открою свою книгу по астрономии, немного помечтаю о звездах и усну…

* * *

Кэмден-Хилл расположен в Кенсингтоне, на холме, как и сообщает название (hill – по-английски «холм, возвышенность»), и расположен совсем недалеко от того места, где жили Стивены. Название район получил от находившегося там когда-то Кэмден-Хауса, дома богатого

торговца тканями, известного политика Батиста Хикса, 1-го виконта Кэмпдена из Кэмпдена в графстве Глостер, произведенного в рыцари королем Яковом I в 1603 году (он снабжал королевскую семью бархатом, шелком, атласом для свадеб, праздников и парадных опочивален). На этом же холме расположен и Холланд-парк, бывший вплоть до XIX века лесным массивом на территории особняка эпохи короля Якова. В период с 1860 по 1880 год владельцы распродали лес под жилую застройку, и мастера-строители Уильям и Фрэнсис Рэдфорды возвели около двух сотен викторианских домов, постепенно превратившихся в туристическую достопримечательность и один из самых дорогих жилых массивов Лондона. Среди его жителей, бывших и нынешних, – сэр Дэвид и Виктория Бекхэмы, сэр Элтон Джон, Дэвид Кэмерон, Эд Ширан, сэр Ричард Брэнсон, Робби Уильямс и другие (недаром название «Холланд-парк» стало нарицательным в некоторых городах мира – районы с таким названием находятся в Голландии в городе Димен,

в США в Калифорнии и даже в Москве). Во времена же, когда там бывали Ванесса и Вирджиния, район был заселен художниками, входившими в кружок, так и называвшийся «Холланд-парк» (там жили Джордж Фредерик Уоттс, Уильям Бёрджес). Этот район в 1940 году подвергся жестокой бомбардировке – в Холланд-парке решили оставить часть развалин, как напоминание о трагедии.

С Холланд-парком граничат владения семейства **Филлиморов**, к которым ездила на танцы Вирджиния. Они расположены на юго-западном склоне холма, к востоку от Холланд-Хауса – семейству принадлежало несколько больших викторианских домов. Это очень богатое и влиятельное британское семейство – недаром в гостях у них Вирджиния беседовала с директором Банка Англии: род потомственных судей и адвокатов – их титул баронета был создан еще 28 декабря 1881 года персонально для сэра Роберта Филлимора. Представитель семейства и сегодня входит в попечительский совет поместья.

Savoy Grill – фешенебельный ресторан в центре Лондона по адресу Стрэнд, 100, он существует до сих пор и известен как один из самых роскошных и прославленных ресторанов в мире. Был основан в 1889 году, и в нем обедали и ужинали такие люди, как Уинстон Черчилль, Джеймс Дин, Мэрилин Монро, Фрэнк Синатра, Оскар Уайльд и Ее Величество Королева Елизавета II. Сегодня ресторан действует не просто как заведение, где можно поесть, но и как исторический памятник – в нем подают блюда из меню столетней давности, тех времен, когда в нем как раз бывали братья Вирджинии: камбала по-дуврски или говядина по-веллингтонски. Считается, что уважающий себя романтик просто обязан пригласить даму на решающее свидание в *Savoy Grill.*

Записи Вирджинии этих лет показывают, какая невероятная перемена произошла с английскими женщинами в Эдвардианскую эпоху — вместе с корсетом исчезли и многочисленные ограничения, которые накладывала на женщину викторианская мораль. Вирджиния не думает

больше об изяществе позы, выражении лица и не рассматривает всех встреченных мужчин сквозь фильтр потенциального жениха. Она и в юности была весьма наблюдательна и остроумна и не скупилась на забавные характеристики встреченных ею людей — но следует помнить, насколько все это было ново и свежо уже в те времена!

Гораздо больше, чем танцы, Вирджиния любила прогулки: вот полноценное, настоящее путешествие викторианской девушки (она ведь все-таки была в значительной степени лишена сегодняшней свободы перемещений — домашнее образование, на вечеринки ходишь не туда, куда хочешь, а туда, куда поведут сводные братья…).

Хэмптон-Корт – великолепный загородный дворец английских королей, расположен на левом берегу реки Темзы, в районе Ричмонд-апон-Темс, в окрестностях Лондона. Судьба дворца весьма непростая, но очень интересная. Около 1514 года фаворит короля Генриха VIII кардинал Томас Уолси приобрел участок у рыцарей-госпитальеров и построил на нем особняк для своей семьи (она бы-

ла немаленькая – около 500 человек). В 1529 году кардинал подарил его королю Генриху VIII (пишут, что кардинал впал в немилость – король был неприятно поражен красотой и роскошью дворца и просто забрал его себе, но не забыл правильно оформить документы). Представители династии Тюдоров (некоторые утверждают, что их призраки можно встретить во дворце и ныне) сделали из него нечто среднее между дворцом и развлекательным комплексом. Генрих обустроил во владениях площадки и территории для занятий стрельбой из лука, боулингом, рыцарскими турнирами, теннисом и, конечно же, охотой. С северной стороны дворца находится закрытый королевский теннисный корт, построенный для короля в 1529 году, но восстановленный и переделанный более поздним игроком королевской семьи, Карлом II, – это самый древний крытый теннисный корт в мире!

Легендарный правитель – Генрих VIII – использовал дворец для демонстрации роскоши и могущества – и, конечно, се-

лил в нем своих многочисленных жен (был момент, когда все шесть жен находились в здании одновременно!).

Во времена правления Вильгельма III, во второй половине XVII века, дворец перестроил знаменитый английский математик и архитектор Кристофер Рен – король Вильгельм и его супруга Мария мечтали о своем Версале. В результате в настоящее время в Хэмптон-Корте можно увидеть как бы два дворца в одном: первый – дворец Тюдоров, принадлежавший Генриху VIII, а второй – шедевр барокко, спроектированный в XVII веке для королевской четы Вильгельма и Марии: красные кирпичные постройки эпохи Тюдоров сочетаются с роскошными барочными крыльями.



Хэмптон-Корт. Фотография середины XX века

Видал Хэмптон-Корт и трагические события: в ноябре и декабре 1647 года здесь содержался в заточении Карл I, которому революционеры в итоге отрубили голову, а с 1649 по 1660 год дворец пребывал в ведении Республики, образованной революционерами после упразднения монархии. Королевской резиденцией Хэмптон-Корт продолжал служить вплоть до 1760 года – когда умер король Георг II, его наследница королева Виктория передала дворец в управление

правительству и открыла его для посещений. С 1998 года Хэмптон-Корт находится в ведении фонда «Исторические Королевские дворцы».



Вирджиния Вулф и другие дети

Экспедиция в Хэмптон-Корт (запись в Дневнике. 5 июля, воскресенье, 1903 год)

Большинство лондонцев путешествовали по Италии, Турции или Греции; они ездят в Париж или Шотландию почти как за город на выходные, но, по моему опыту, не знают даже ближайших окрестностей Лондона. На их карте они порой словно отмечены серой зоной, такой же неизведанной, как и некоторые районы Африки. По правде говоря, прожив всю жизнь в Лондоне, я лишь раз ездила в Хэмптон-Корт. Кью, Ричмонд и Хампстед, пожалуй, знакомы мне чуть лучше. По тем или иным причинам куда угодно проще поехать, чем в пригород Лондона. Поездка должна быть однодневной, ибо никто, насколько мне известно, не ночует в Кью или Хэмптон-Корте. Обычно эти места вы просто проезжаете на поезде. Однажды летом у вас появляется свободное время, и тогда вы думаете, что стоит получше узнать эти места, и раз в десять лет с удивлением обнаруживаете себя на прогулке по оранжерее в Кью или по лабиринту Хэмптон-Корта. Я всегда

удивляюсь, приятно удивляюсь, когда оказываюсь там. И все равно я позволяю времени нестись вперед между своими посещениями тех или иных уголков Англии. Свободный летний день так и не наступает, а вы постоянно проводите время в саду, разбитом прямо у дома. Это пришло мне в голову буквально сегодня, когда мы осуществили задуманное и побывали в Хэмптон-Корте. Мы действительно планировали эту вылазку целый год, и, наверное, пройдет еще десяток, прежде чем мы начнем планировать следующую, но сегодня я пишу, опираясь, так сказать, на собственный опыт. Моя информация почерпнута не из путеводителя и не из рассказов другого путешественника. Я опишу то, что видела своими глазами.

Итак, мы выехали в 11 утра. По пути в Хаммерсмит не было ничего достойного описания, к тому же это сравнительно заезженный район. Покидая Хаммерсмит, вы попадаете в незнакомый край. Улицы все больше и больше похожи на деревенские; дома приобретают индивидуальность и пространство для расширения. И все же явно чувствуется принадлежность, пускай и отдаленная, к большому городу. Создается впечатление, будто респектабельные слои лондонского общества

приехали сюда на покой, чтобы провести старость с куда большим достоинством и спокойствием, чем они могут позволить себе в столице. Набожность тоже вышла на пенсию и переехала — по пути я насчитала удивительное количество монастырей и сестринских общин; пару раз я имела удовольствие заглянуть в эти обители и увидеть монашек на прогулке, а еще проходила мимо сада приюта для маленьких девочек-католичек. Детей разбили на пары, они следовали за мрачной сестрой милосердия в своего рода процессии, и у всех них по какой-то неведомой причине на голове был венок из белых цветов — поистине непорочное зрелище для обычного прохожего. Потом на фоне маленьких крутых переулков, отходящих от главной дороги, начала промелькивать река, а проезжая по мосту, мы увидели целую флотилию барж, пришвартованных вместе на воскресный выходной. Живописный рабочий на барке отмывал палубу от недельной грязи и копоти, и сам он тоже весь был в пене, как и доски. Кажется, это было в Брентфорде, но, по правде говоря, я понятия не имею, через какие деревни мы проезжали и в каком порядке. Они переходили одна в другую, хотя изначально отличались так же, как Лондон от Бирмингема. Тем не менее новых

зданий очень мало. Большинству из них уже лет шестьдесят-семьдесят, и чаще всего встречаются милые квадратные георгианские дома. Полагаю, изначально они стояли отдельно, ведь георгианские дома строились для богатых людей, которые могли позволить себе много света и свежего воздуха. В любом случае весь путь до Хэмптон-Корта, занявший у нас полтора часа, достоин внимания. В половине первого мы наконец-то достигли пункта назначения. Через мгновение мы уже прогуливались по широкой лужайке Дворцового сада. Мое предыдущее посещение Хэмптон-Корта лет десять назад не оставило в памяти адекватного представления о красоте и просторе этого старого сада. Забыла я и великолепие самого темно-красного дворца. Поначалу мне захотелось просто пройтись и позволить своему взгляду плыть по гладкому газону, освещенному яркими цветами, а затем любоваться идеально подходящей к саду формой дворца. Однако было холодно, мы проголодались, и, к нашему удивлению, половина Лондона, видимо, задалась целью посетить Хэмптон-Корт в тот же день и час, что и мы. Террасы и газоны, по которым, как мне казалось, должны были ходить лишь дамы в парче и джентльмены в бриджах и со шпага-

ми, кишели людьми совершенно другого сорта, возможно, более нравственными, чем их предки времен Карла II, но, в отличие от них, куда менее изысканными. Не сожалеть об этих переменах я не могла. Я снова и снова жалела — как, наверное, и все мы, — что у меня нет возможности побыть в одиночестве в этих садах. Они созданы для умиротворения и привилегии медитации. Мы обедали вместе с другими посетителями, и вообще, куда ни пойди, нескольким десяткам людей приходит в голову то же самое. Похоже, мне надо забрать свои слова о том, что кокни не ездят в Хэмптон-Корт. После обеда, изо всех сил пытаясь представить, что вокруг никого нет, мы прогуливались по дворам. Они, как мне кажется, просто идеальны — такими не могут похвастаться ни Оксфорд, ни Кембридж. Абсолютно никакие переделки и реставрации, насколько можно судить, не коснулись этих старинных зданий с тех пор, как заботливая рука архитектора возвела их. Трудность заключалась не в том, чтобы перестать представлять себе Карла и Нелл Гвин на прогулке в сопровождении пышнотелых придворных дам, а в том, чтобы забыть, насколько мы сами нелепо и чудовищно неуместно смотримся в Хэмптон-Корте. Мы прошлись по галереям. Именно там

все иллюзии, возникшие на прогулке по дворам и садам, почти полностью рассеялись. Стены этих красивых старинных комнат, полностью облицованных кедровыми панелями, настолько плотно увешаны картинами, что весь домашний уют будто канул в небытие. Некоторые полотна действительно выдающиеся, другие неплохие, но, независимо от качества, они превращают это место в общественную галерею, куда приходят с каталогом, чтобы что-то узнать и получить удовольствие. Да, на дверях указано предыдущее назначение помещений: спальня королевы, личная гостиная королевы, предбанник короля и т. д., — но невозможно представить, какими они были в то время. И все же по ним ходил Генрих VIII; именно туда привезли умирать маленького Эдуарда VI; разные мудрецы и красавицы без конца бывали в этих комнатах, и всех их можно было бы представить себе, если бы старые столы и стулья остались на своих местах.

Закончив свои дела во дворце, мы около часа бродили по садам, спустились к озеру и лежали, наблюдая за парочкой рыболовов. Они, как и солнечные часы, просто необходимы на подобном пейзаже; рыба никак не ловится; рыбак проводит лучшие часы в мечтаниях — это занятие, как и

определение времени по солнцу, лучше соотносится с менее технологичной и более солнечной эпохой, нежели наша.

Поскольку мы и так потратили слишком много времени, казалось абсурдным связывать себя узами, да еще с другой эпохой, тем более что мы обещали вернуться к чаю. Вот только это было невозможно. Выдвинись мы в сторону дома, все равно бы приехали только к ужину. Большинство других приезжих уже исчерпали интерес к Хэмптон-Корту. Прогулка, которой они так наслаждались, подошла к концу, и всем не терпелось вернуться домой. Почти в полном одиночестве идя по саду в сумерках, мы разглядели пару величественных фигур, сновавших по лужайке. Не узнать их невозможно. Это были не кокни-туристы, которые своим шумом и видом портили все вокруг, — нет, то были придворные дамы, живущие во дворце. Думаю, это вполне логично и здорово [сделать старый дворец фоном для нашей престарелой аристократии], что наша престарелая аристократия, которая не находит себе места в шумном городе, проводит последние дни в старом дворце, полном традиций и древнего великолепия, которое, по-моему, еще прекраснее в зрелом возрасте, чем в расцвете

сил. Эти пожилые дамы с их громкими именами и согбенными старческими телами воспринимаются как сам дух Хэмптон-Корта, удивительным образом преследующий нас во время вечерней прогулки. В этой своего рода королевской богадельне они доживают свой век. Нет ничего приятнее и достойнее уединения на старости лет в Хэмптон-Корте на берегу Темзы.

Я сама с восторгом предвкушаю старость и размышляю о том, чтобы встретить ее похожим образом!

* * *

В дневниковой записи Вирджиния не без юмора припоминает **английских королей** – Карла II, Генриха VIII и маленького Эдуарда VI, а также фаворитку Нелли Гвин, гулявших по дорожкам парка за сотни лет до нее. Генрих VIII (1491–1547) – наверное, самый знаменитый и популярный король благодаря необычному количеству жен, активному участию в церковной реформации (наверное, чтобы можно было бесконечно жениться) и роскошным нарядам на портретах. Король Карл II (1630–1685) известен прежде всего

тем, что его отцу Карлу I революционеры отрубили голову. Рос он в Голландии, а вернувшись в Англию, скрывался и упорно сражался с революционерами. Он взошел на престол после смерти Оливера Кромвеля и был свидетелем и эпидемии чумы 1666 года, и Великого лондонского пожара. Был человеком смелым, отчаянным, обаятельным, но не очень последовательным, поэтому проведенные им реформы отличались некоторой противоречивостью: при нем сформировались политические партии тори и вигов, начался расцвет экспансии в колониях, а период его правления запомнился англичанам как самый разнузданный. Нелли Гвин была его фавориткой – ее прозвище «апельсиновая девушка» помнят лондонцы до сих пор, потому что она так весело и увлеченно торговала апельсинами, что ее знал весь Лондон. Эдуард VI (1537–1553), сын Генриха VIII, успел побыть королем целых шесть лет, прежде чем заболел и умер то ли от воспаления легких, то ли от отравления (историки считают отравление вполне вероятным).

И еще одно путешествие совершила Вирджиния в том же году: в **Эрлс-Корт** — район на границе Кенсингтона и Челси, бывший сельский уголок, впоследствии пустырь и наконец популярное место досуга в начале XX века.

Местечко Эрлс-Корт когда-то было сельскими угодьями, ставшими после норманнского завоевания владениями семьи де Вер, графов Оксфордских. Только в начале XVIII века земли были разделены, и одна половина, известная сейчас как Холланд-парк, была продана политику-вигу Генри Фоксу в 1762 году. Второй участок остался в семье, сохранил название Эрлс-Корт и перешел по наследству к Уильяму Эдварду, барону Кенсингтону. В конце XIX века этот район постепенно из сельских усадеб начал превращаться в пригородную жилую застройку. Строительство двух станций метро и проведение железнодорожной ветки способствовало созданию в этом районе центра выставок и развлечений: в 1895 году были построены здание для индийской выставки, знаменитое

лондонское колесо обозрения The Great Wheel, открыты выставочные павильоны. Колесо радовало публику до 1907 года, а затем было демонтировано, чтобы участвовать в Австралийской имперской ярмарке. Эрлс-Корт был очень популярен, его посещала даже королева Виктория, жившая затворницей в последние годы правления. В конце XIX века Эрлс-Корт стал центром обучения современным технологиям – в 1861 году в этот район перебралась Лондонская академия музыки и драматического искусства, в 1892 – Лондонский колледж электроники, в котором обучали новейшему изобретению – азбуке Морзе. В 1937 году, еще при жизни Вирджинии, в Эрлс-Корте выставкой шоколада торжественно открылся новый современный огромный выставочный центр площадью более 40 000 м^2. Центр закрылся только в 2014 году, здание было разобрано – в районе началась массовое строительство дорогого жилья. Сегодня этот район не только место жительства богатых лондонцев, но и своеобразный заповедник поздневикторианской архи-

тектуры.

Эрлс-Корт
(запись в Дневнике. 22 июля, среда, 1903 год)

Раз в год мы ездим в Эрлс-Корт. Не знаю, хочу ли бывать там чаще, но от одного посещения я получаю удовольствие. Сегодня вечером мы неожиданно решили поехать втроем [Ванесса, Адриан, Вирджиния — она путешествовала с любимыми братом и сестрой]. Вечер стоял прохладный, и сейчас я снова не могу отделаться от мысли, что слишком холодно. Мы прошерстили весь гардероб в поисках одежды — нужна была одновременно парадная, уличная и непромокаемая. В конце концов мы пошли на компромисс, выбрав закрытую обувь и вечерние наряды, и теперь, когда я думаю об этом, полагаю, только наши шляпки можно было по праву назвать парадными. Но это не имело значения. Эрлс-Корт — одно из тех мест, куда можно пойти в чем хочется. Первым делом мы отправились на водную горку. Кажется, выставка имела какое-то отношение к пожаротушению, но на самом деле меняется лишь название, а все прочее остается

прежним; без всякого воображения можно представить себя в Венеции (выставка в Эрлс-Корте три года назад) или в Константинополе, которому выставка была посвящена, кажется, в прошлом году. Водная горка, как вы понимаете, одинаково уместна в любом случае. Она неизменна. С содроганием представляю свое душевное состояние, когда я перестану ее ценить. И все же в прошлом году я без колебаний совершила шесть спусков подряд, а в нынешнем была не прочь остановиться после третьего, но едва ли стоит переживать по этому поводу. Каждый раз мы садились вперед, вопя и придерживая шляпы, устремлялись вниз, плюхались в воду, поднимались, а затем плыли к берегу и выбирались. Было трудно решить, что делать дальше, однако название «Река лавы», написанное мерцающими лампочками, так привлекла меня и Адриана, что мы заплатили по шесть пенсов и заняли места в лодке. Ну и обман! Я уже плавала по этой реке, когда она называлась Стиксом и когда была венецианским каналом, чуть иначе украшенная. Суть в том, что вы плывете по своего рода водостоку, а поток регулируется электричеством, так что веслами грести не нужно. Путь изобилует гротами, разноцветным освещением и его бликами на воде,

но все мы согласились, что это плохой аттракцион. «Не заплатила бы и пенса!» — нарочито громко сказала Несса. «Пожалуй, пенса три, не больше», — сказал Адриан, вероятно испытывая часть вины за наше решение прокатиться.

А потом… Ну, мы точно нашли места за каким-то мраморным столиком и поели мороженого. Представить себе не могу ситуацию, в которой это было бы не так, хотя мороженое в Эрлс-Корте — само по себе испытание для его любителей. Потом Нессе пришлось покинуть нас, разумеется с глубочайшим сожалением. Тогда мы еще раз поднялись на эту безумную платформу, нависающую над железной дорогой, заняли передние места и вопили при спуске.

Мы с Адрианом сошлись во мнении, что надо осмотреть остальную часть выставки. Мы побывали во множестве павильонов с музыкантами и электрическим освещением, несколько раз поднимались на мосты и увидели кучу разных представлений или их вывесок, которые порой намного интереснее. Шоумены описывали достоинства своих чудес и тайн в духе чистейшей филантропии. Мне было очень трудно держать себя в руках и не давать Адриану соглашаться на все подряд. Нас ужасно манило к «Паутине», про-

изведшей сенсацию в Америке, в перевернутый дом, к разным фокусникам и хиромантам. Однако Адриана было не удержать, когда мы подошли к шатру, в котором за мизерную сумму в шесть пенсов предлагали насладиться под музыку верховой ездой на самых что ни на есть живых лошадях. Полог шатра был искусно откинут, позволяя заглянуть внутрь и увидеть лошадей, ждущих посетителей. Адриан взобрался на пегого жеребца; после свистка и под звуки музыкальной шкатулки он начал вышагивать по кругу, который на самом деле был не больше этой комнаты. К ним присоединились еще полдюжины будто бы одурманенных лошадей; среди ездоков были неприятный лавочник и парикмахер, которые с трудом держались в седле, но все равно зачем-то подгоняли своих животных.

Женщина в алой робе, если можно так назвать ее наряд, тоже совершала круг. Дама в короткой черной юбке и блузке тряслась во главе унылой процессии, но, столкнувшись несколько раз со всадником, ехавшим сзади, решила, что с нее хватит, и спешилась. Тем временем Адриан упорно двигался по кругу — самое комичное зрелище на свете. Мне казалось, что лошадям не хватит духу остановиться, стоим им только

стартовать, но раздался свисток, и они как вкопанные замерли на месте. Я бы посмеялась над этим зрелищем, не будь оно таким невыразимо мрачным и унизительным для любого живого существа; собственно, я и посмеялась, но это и правда удручающее зрелище. Когда мы уходили, подошел мужчина и предложил посмеяться сто раз за шесть пенсов — от нас требовалось лишь заплатить и пройти внутрь. Предложение было настолько щедрым, что мы согласились. Так мы оказались в шатре, уставленном зеркалами со всевозможными изгибами, выпуклостями и вогнутостями, делавшими наши отражения вытянутыми, кривобокими, гигантскими и карликовыми. Наши тела искривлялись во все стороны, пока, наконец, в одном из зеркал от нас не осталась лишь пара ног, которые к тому же двигались по-разному. Когда нам показалось, что весь обещанный смех исчерпан, мы ушли. Выставка закрывалась в половине двенадцатого, а до тех пор мы сидели под музыку оркестра и слушали популярные мелодии. В ближайший год мы не поедем в Эрлс-Корт.

* * *

Ежегодные выставки в Эрлс-Корте обычно посвящались какой-нибудь важной теме (так происходит и сегодня; например, Лондонская книжная ярмарка проходит именно там): международным достижениям, образованию, торговле и туризму, в подражание Всемирной выставке 1851 года. Однако популярность при этом поддерживалась и за счет ярмарочных аттракционов и развлечений, таких как перевернутый дом или водная горка. Удивительный факт – примерно в то же время, когда Вирджиния гуляла в Эрлс-Корте с сестрой Ванессой и братом Адрианом, в нескольких минутах ходьбы от них (повернуть направо, на юго-восток за станцией метро, у Бромптонского кладбища – повернуть снова направо, на юго-запад, и через 100 метров – налево, на Сьюгрейв Роад) в гараже Лондонской дорожно-автомобильной компании встретились мистер Роллс и мистер Ройс (и родилась легенда XX века – «Роллс-Ройс»!).

Сегодня же Эрлс-Корт популярен благодаря совсем неожиданному памятнику – рядом со станцией метро стоит синяя полицейская будка. На самом деле это не будка, а ТАРДИС (англ. TARDIS – Time And Relative Dimension In Space) – машина времени и космический корабль из британского телесериала «Доктор Кто». Будка в сериале – мирное и кроткое живое существо с планеты повелителей времени, которое во время Войны Времени занесло в параллельную Вселенную, где оно может жить только в виде будки и доставлять пассажиров в любую точку времени и пространства. Спроектирована будка была еще в 1929 году и служила укрытием для настоящих полицейских (путешествовали ли они во времени – неизвестно); в конце 90-х будку отреставрировали в рамках проекта по обеспечению безопасности лондонского метро. А в 2005 году возвращение «Доктора Кто» на экраны превратило будку в культовый объект!

Мальчики семьи Стивен, традиционной и

викторианской, учились в Кембриджском университете, а девочки были на домашнем обучении (британские феминистки утверждали, что главное предназначение женщины — стать украшением серванта). Только в возрасте 15 лет Вирджиния наконец смогла поступить на женское отделение Королевского колледжа Лондона, вдобавок она очень интенсивно училась греческому у своей будущей подруги Джанет Кейс. Ванесса училась в Школе искусств при Королевской Академии художеств. Теперь семья не могла, как раньше, уезжать за город на все лето, а только на каникулы. Поэтому в августе 1903 года Стивены арендовали Нэтэрхэмптон-хаус, в 3 милях к западу от города Солсбери и отправились в сельскую местность на целых семь недель:

«Мы вырвались из Лондона. После титанических усилий на вокзале [Ватерлоо], который получил свое название от поля битвы, мы с Нессой [~~затащив в вагон~~ 8 ~~чемоданов~~] осуществили переезд семьи в Солсбери» (из дневниковой записи за август, 1903 год).

Самое примечательное в этих записях Вирджинии то, что возвращение в город после отдыха впервые не вызывает у нее скуку и тоску, как это было в раннем детстве, когда дети мечтали

уехать за город, на свободу. В деревне ей было хорошо, она много читала, но Лондон постепенно начинает завораживать ее — на глазах превращается в живое существо.

Лондон
(запись в Дневнике. 1903 год)

Мы вернулись — я сижу в своей комнате, в которой сидела и спала практически с младенчества. В ней появился новый красный ковер, а в остальном все по-прежнему, и я бы не хотела ничего менять.

Стыдно признаться, но сегодня утром два препятствия помешали нам как следует проститься [с Солсбери]: во-первых, обед, съеденный в поезде; во-вторых, газета, которую мы все усердно читали за обедом. В ней отражена тревога по самым разным поводам — не знаю, глубоко ли она проникает, но поверхность будоражит сильно. Понять политические заявления, на мой взгляд, труднее всего, отчасти, я полагаю, потому что политиков, как правило, не учат искусству излагать свои мысли в письменном виде. В любом случае нет нужды вдаваться в подробности. Важнее то, что это было прекрасное осеннее утро, насыщенное, теплое и полное раскаяния, один из немногих жарких дней этим летом. Когда мы добрались до Лондона, жара, которой было где

разгуляться в сельской местности, в городе просто удушала; поверхностное впечатление от Лондона заключалось в том, что он как будто в дезабилье и отсыпается после усталости от сезона. Люди на улицах выглядели так, словно они просто приезжие; кэбов с багажом было больше, чем без него. После деревни лондонский дом, несомненно, кажется маленьким и захламленным, но мы еще встряхнемся. Нэтэрхэмптон уже поблек, но я надеюсь, что окончательно не забудется. <…>

<…> Лондон, надо признать, похож на даму, которую застали врасплох в домашнем халате, и выглядит она не лучшим образом. Досадно осознавать, что лето в самом разгаре; единственная компенсация за отъезд из пригорода в это время года — перспектива каминов и долгих вечеров у него; вечеров, возможно, скрашенных визитами друзей и тысячами других цивилизованных развлечений, которых так не хватает за городом. Однако для камина сегодня слишком жарко — мы даже оделись по-летнему. Прогулялись по садам, где тоже повалило деревья. Нельзя сказать, что это всецело вина бури — поваленные дряхлые деревья, чья плоть превратилась в коричневую труху, а кора — в сухую корку. Земля, которую деревья сковырнули при падении, выглядит бес-

плодной, пыльной и уж точно не питательной.

Но самое плохое в Кенсингтонских садах — это люди. В межсезонье их появляется целый выводок, который, к счастью, не показывается в другое время года. Это не коренные жители, не кокни, не представители высшего или среднего класса. Я могу только предположить, что именно в сентябре Лондон предпочитают посещать иностранцы и сельские жители. Они, очевидно, оделись в свои лучшие наряды и сделали все возможное, чтобы скрыть милую деревенскую простоту, которая была… К нам подбежал маленький мальчик и начал гладить по спине Шустера, который никак не реагировал; мы спросили, есть ли у него самого собака.

— Да, — тут же ответил он, — есть одна дома…

— Где же твой дом?

— В Америке, естественно.

Он провел два месяца в Англии и четырнадцать в Антверпене. Этот удивительный ребенок был готов без колебаний поведать нам всю историю своей семьи. Английский мальчик того же возраста, если к нему обращаются незнакомые люди, с полминуты смотрит на них с застенчивой улыбкой, а затем бежит к матери. Ему как будто и в голову не приходит, что от него ждут ответа.

Американский же мальчишка наверняка оказался бы ужасным занудой, узнай мы его поближе. Да и лицо его уже какое-то недетское… <…>

* * *

Смерть матери стала первым печальным событием в череде смертей в семье Стивен — пережив ее всего на два года, умерла от перитонита сводная сестра Вирджинии Стелла. Это было, может быть, еще более печальным событием для всех, потому что она, во-первых, за три месяца до смерти вышла замуж, а во-вторых, она во многом заместила свою мать — вела дом, а самое главное — стала наперсницей Лесли Стивена, выслушивая его проблемы и преданно утешая. После ее смерти весь груз традиционных обязанностей лег на плечи Ванессы и Вирджинии, но Ванессе, как старшей, досталось больше. Лесли Стивен в 1900-х годах начал серьезно болеть — у него обнаружили рак, он сильно мучился, страдал от депрессии, тоски, одиночества и изводил семью так, что Вирджиния потом написала в книге воспоминаний «Моменты бытия»: «Даже сейчас, спустя столько лет, мне нечего сказать в его оправдание: он вел себя жестоко. С таким же успехом он мог бы пустить в дело кнут вместо слов».



Стелла Дакуорт. Середина 1890-х

А роль утешителя взял на себя… Лондон! На страницах дневника в конце 1903 — начале 1904 года, буквально перед смертью отца, Вирджиния много пишет о прогулках по городу. Они ей доставляли удовольствие, развлекали ее, она скрупулезно записывала свои маршруты:

Запись в Дневнике. 4 января, среда. 1904 год

<…> Сегодня мы вернулись домой в 17:30. Днем в лесу было довольно темно; в Лондоне совсем нет солнца, хотя в сумерках, когда мы добрались до вокзала Ватерлоо, было ясно. Проехали по мосту через реку и увидели, что берега по обе стороны усеяны огоньками Лондона, как на японской гравюре. <…>

Запись в Дневнике. 5 января, четверг. 1904 год

<…> Лондонский день. То есть видна лишь узкая полоска неба — ни криков птиц, ни шелеста и скрипа деревьев, ни зелени, ни плеска воды — только бесконечный рев, скрежет, грохот колес и шум голосов. В этом районе все заасфальтировано, что заметно повышает уровень шума. И все же в сельской местности разум «плесневеет» — здесь, во всяком случае, нет оправдания ни одному пятнышку ржавчины. Печатала на машинке, читала и отправила несколько скучных писем. <…>

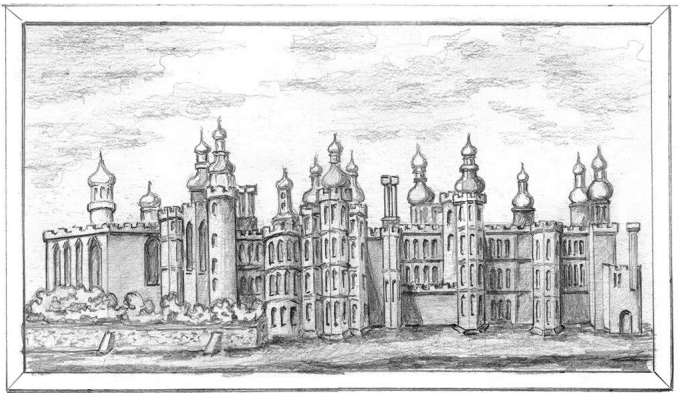
Запись в Дневнике. 8 января, воскресенье. 1904 год

<…> После обеда прогулялись в Риджентс-парке; сильный порывистый ветер, напоминающий о деревенских болотах, развевал все наши лондонские нижние юбки. <…>

Запись в Дневнике. 1903 год

<…> Случай, который нередко вершит наши судьбы, распорядился так, что конец этой тетради совпал с нашим возвращением в Лондон. <…> Октябрь начинается с работы, а удовольствие приподнимает занавес над тем актом нашей пьесы, действие которого разыграется в Лондоне. Действующие лица могут меняться, а их роли отличаться, но неизменность сцены придает определенную целостность целому и на самом деле в немалой степени определяет нашу жизнь. <…>

II. Блумсбери



Ричмондский дворец

В 1904 году в феврале Лесли Стивен умер, но дети — Вирджиния, Ванесса и их младший брат Адриан — были уже достаточно взрослыми, чтобы начать самостоятельную жизнь. Через три месяца после смерти отца у Виджинии случился новый приступ болезни, мучительнее и продолжительнее прошлого, поэтому с Лондоном она вновь встретилась только в 1905 году. Пока она лечилась, ее брат с сестрой перебрались в Блум-

сбери, в дом 46 по Гордон-сквер, отделившись от сводных братьев Джорджа и Джеральда. Именно здесь Вирджиния наконец начала превращаться в настоящего писателя, обретать свое собственное видение мира, осознавать собственную важность и ценность, принимать свои решения. Лондон стал лучшим другом Вирджинии — теперь она могла устанавливать с ним свои отношения, его улицы стали *haunted streets*, по ее крылатому выражению.

В 1927 году, став уже известным писателем, Вирджиния очень метко назвала эссе о своих прогулках по любимому Лондону *Streets haunting*, что можно перевести на русский как «Уличная охота» или даже как «Охота за улицами», – это была действительно охота, но скорее за городскими впечатлениями, за интересными происшествиями, за красотой городских пейзажей и городскими приключениями.

Из очерка «Старый Блумсбери», 1921–1922 годы (?)

<…> Так мы переехали в дом 46 по Гордон-сквер. Сегодня Гордон-сквер едва ли можно назвать одной из самых романтичных площадей Блумсбери. У нее нет ни утонченности Фицрой-сквер, ни величия Макленбург-сквер. Это район процветающего среднего класса, насквозь пронизанный духом середины Викторианской эпохи. Но я могу заверить вас, что в октябре 1904 года это было самое красивое, самое волнующее и самое романтичное место на свете. Прежде всего, было удивительно стоять у окна гостиной и смотреть на все эти деревья: одно взмывает ветвями ввысь, а затем струится вниз, словно водопад; другое после дождя блестит, как спина тюленя, — вместо того чтобы снова видеть старую миссис Редгрейв, которая моет шею в доме напротив. Яркий свет и свежий воздух после удушливого красного полумрака на Гайд-парк-гейт стали настоящим откровением. Вещи, которые там нельзя было разглядеть, — картины Уоттса, голландские шкафы, голубой фарфор — впервые засияли в

гостиной на Гордон-сквер. После глухой тишины на Гайд-парк-гейт рев уличного транспорта действительно пугал. Под окнами бродили странные и зловещие фигуры. Но еще более захватывающим стало необычайное ощущение простора: на Гайд-парк-гейт у каждого из нас была лишь спальня, где мы читали или принимали гостей. Здесь же у нас с Ванессой появились собственные гостиные, большой общий зал и кабинет на первом этаже. К тому же весь дом был полностью отремонтирован, что придавало ему ощущение новизны и свежести. <…>

* * *

Гордон-сквер в 1820-х годах была спроектирована как парная площадь к Тависток-сквер и предназначалась для частного пользования жителей окрестных домов. Сегодня она относится к Лондонскому университетскому колледжу – ему принадлежит большинство зданий на площади – и открыта для горожан. Названа же площадь в честь второй жены 6-го герцога Бедфорда, леди Джорджианы Гордон, дочери Александра Гордона, 4-го герцога Гордона (чисто английский спо-

соб давать имена улицам и площадям).

Фицрой-сквер – площадь в Лондоне, известная застройкой в георгианском стиле (то есть кирпичные, отделанные камнем или покрытые штукатуркой симметричные дома с изящными парадными входами, примерно XVIII века). Она имеет странную форму круга в квадрате – так она была задумана архитектором Робертом Адамом. Имя площадь получила от бывшего владельца Чарльза Фицроя, 2-го герцога Графтона, – его потомок застроил площадь домами для аристократических семей. Окончанию застройки помешала Наполеоновская война, потом часть площади сильно пострадала от бомбежек во Вторую Мировую, сегодня площадь отреставрирована и превращена в пешеходную зону. На Фицрой-сквер, в дом, где раньше жил Бернард Шоу, Вирджиния переехала вместе с Адрианом в 1907 году, после замужества сестры Ванессы. От Фицрой-сквер улица под названием Фицрой-стрит ведет прямо в Риджентс-парк – одно из любимых мест прогулок Вирджинии, – в этом парке гулял и Септимус

Смит из романа «Миссис Дэллоуэй».

Макленбург-сквер – площадь в центре Лондона, названная в честь королевы Шарлотты Мекленбург-Стрелицкой, супруги короля Георга III, была частью земель, отведенных под сиротский приют. С 1792 по 1825 год площадь застроили красивыми жилыми домами с террасами. Сад посредине площади был доступен только жителям. В 1939–1940 годах в доме № 37 по Макленбург-сквер жили Вирджиния и Леонард Вулф; дом был разбомблен во время авианалета фашистов.

Новая жизнь в Лондоне в эти, ставшие совершенно новыми, времена предполагала и иное восприятие самой себя, иное общение — Вирджиния и Ванесса стали свободно гулять по магазинам, ходить на вечеринки и концерты. И самое главное — Вирджиния начала зарабатывать писательским трудом: промышленная революция, определившая судьбу поколения, призывала на работу все больше женщин, и юная Вирджиния оказалась в первых рядах.

Запись в Дневнике. 10 января, вторник. 1904 год

<…> Сегодня утром я обнаружила на столе свой первый заработок — £2/7ш/6п за статьи в *Guardian*, — доставивший мне огромную радость. На рецензию также прислали книгу «Женщины в Америке», а это означает еще больше работы и, следовательно, чеков. Все утро писала заметку для Фреда и дошла до 1897 года; закончу раньше, чем думала, ибо знаю, что хочу сказать, и не испытываю особых трудностей. Остается только надеяться, что получится хорошо. <…>

* * *

Manchester Guardian – ежедневная английская леволиберальная газета, основана в Манчестере в 1882 году. В 1959 году она сменила название на *Guardian* и выходит по сей день, став весьма уважаемым изданием, информации которого принято доверять. В конце 1904 года газета опубликовала три рецензии Вирджинии Вулф: «Социальная Англия»,

«Сын Рояла Лангбрита», «Хоэрт, ноябрь 1904» 7, 14 и 21 декабря соответственно. Рецензия под названием «Американка» на книгу «Женщины Америки» некой Элизабет МакКракен вышла в Guardian от 3 мая 1905 года.

Там же, на Гордон-сквер, сложилась и **группа «Блумсбери»** — кружок молодых писателей и художников, важная составляющая формировавшегося стиля модерн, увековечивший название лондонского района. Старший брат Вирджинии Тоби Стивен привел своих университетских друзей в новую просторную квартиру, оказавшуюся отличным местом для устройства вечеринок, и они быстро стало традиционными. Можно сказать, что кружок сложился стихийно — никакой специально сформулированной, четко выраженной художественной или идеологической программы у членов кружка не было, они отстаивали творческую и личностную независимость и боролись с унаследованным от викторианской эпохи ханжеством. Кто только не побывал членом блумсберийского кружка, переезжавшего вслед за Ванессой по разным местам Лондона! Художник Роджер Фрай, экономист Джон Мейнард

Кейнс, философ, математик, будущий лауреат Нобелевской премии Бертран Рассел, художественные критики Литтон Стрейчи и Клайв Белл были постоянными членами, в гости приходили Т. С. Элиот, Артур Уэйли, Олдос Хаксли, Вита Сэквилл-Уэст, Кэтрин Мэнсфилд и многие другие. Вирджиния была постоянным участником заседаний кружка, и именно здесь вокруг нее удивительным образом происходили неожиданные и часто очень важные для нее события: в октябре 1918 года **Кейнс**, крупнейший экономист прошлого века, встретил в Лондоне русскую балерину дягилевской антрепризы Лидию Лопухову, приводил ее на заседания в «Блумсбери», а потом они поженились, и Кейнс стал балетным меценатом и даже, по некоторым данным, приложил руку к сочинению балетных либретто. Принципы блумсберийского кружка — возможность обсуждать любые темы, не оглядываясь на авторитеты, неожиданно пригодились Кейнсу в его работе над выявлением законов экономики, многие из которых актуальны и сегодня. Одним из важных членов группы стал **Леонард Вулф** — близкий приятель брата Вирджинии, Тоби, обративший внимание на сестер Стивен еще в 1900 году. Леонард дружил с Литоном Стрейчи,

поэтому с самого начала существования группы принимал в ее заседаниях участие, но «заочное участие» — в письмах: с 1904 года он работал в Государственной службе Цейлона. Впервые Вирджиния и Леонард были представлены друг другу за полгода до образования «Блумсбери», 17 ноября 1904 года, когда Леонард обедал у Стивенов на Гордон-сквер, перед отъездом на Цейлон, — тогда они еще не знали, что их встреча — это судьба.



Вирджиния Вулф и Литтон Стрейчи. Июнь 1923 года

Причиной выбора названия «Блумсбери» была, как можно догадаться, не только географическая принадлежность: этот район издавна служил центром университетского Лондона, здесь находятся Британский музей и Британская библиотека.

История района **Блумсбери** восходит еще к XIII веку, когда землей владела семья Блемон из Франции – отсюда и странное название, когда-то оно звучало слегка на французский манер Blemondisberi. В конце XIV века Эдуард III приобрел поместье Блемонд и передал его монахам-картезианцам, использовавшим землю под огороды. Только в XVI веке после роспуска монастырей Генрих VIII вернул владения короне и пожаловал землю Томасу Ризли, 1-му графу Саутгемптону (герою романов Хилари Мантел – человеку, поднявшемуся из низов на вершины власти). Потомки графа Саутгемптонского начали застройку владений в XVII веке, им наследовали графы Бедфордские в XIX веке – постепен-

но усилиями поколений эти владения превратились в красочный и богатый район Лондона. Известными жителями Блумсбери в разные времена были Махатма Ганди, Чарльз Дарвин, Чарльз Диккенс, Боб Марли, Рики Жерве. А еще Блумсбери известен невероятным происшествием 1814 года – **Пивным потопом**. Событие, способное в наше время показаться неожиданным счастьем, на самом деле было трагичным: в октябре 1814 года на пивоварне Horse Shoe («Подкова»), расположенной к западу от Дайотт-стрит, взорвался огромный чан с портером, в результате чего на близлежащие улицы выплеснулась 15-футовая (почти 5 метров высотой) волна пива и утопила восемь человек. Сегодня Блумсбери – место расположения многочисленных культурных и научных учреждений, в том числе и издательства *Bloomsbury Publishing*, именно это издательство в 1997 году заключило лучшую сделку во всей истории книжного дела – приобрело права на «Гарри Поттера».

Но задолго до этого знаменательного события по богатым необыкновенным прошлым улицам гуляла Вирджиния, тогда еще Стивен.

Запись в Дневнике. 6 января. 1915 год

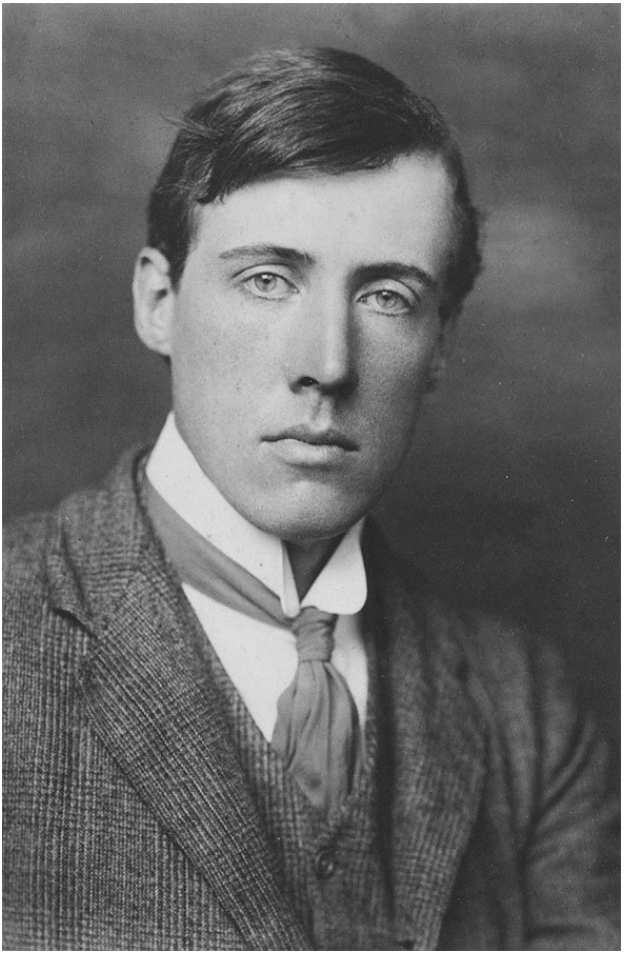
<…> По сумрачным улицам Холборна и Блумсбери могу бродить часами. Везде смятение, раздор, беготня… Только на оживленных улицах могу предаваться тому, что принято называть «мыслительным процессом». <…>

* * *

В 1906 году семью Стивенов постигло еще одно несчастье — Тоби умер от брюшного тифа, заразившись в путешествии по Греции, куда ездил с братом Адрианом и сестрами. В 1907 году сестра Ванесса вышла замуж за писателя и арт-критика Клайва Белла из группы «Блумсбери» — она ответила согласием на настойчивые ухаживания, и семье пришлось разъехаться: Ванесса с мужем остались на Гордон-сквер, а Вирджиния с Адрианом переехали на Фицрой-сквер, в дом 29. Не смотря на переезд, блумсберийские вечеринки и встречи творческих друзей продолжились. Писательница, а Вирджиния Стивен уже была состоявшейся писательницей, публиковалась в Guardian, Speaker, Times Literary Supplement,

писала на разные темы, но очень страдала, когда ее критиковали, а хвалили других авторов.

Современные исследователи по-разному объясняют, как личные травмы влияли на творчество Вулф. Нелепая смерть от тифа любимого старшего брата Тоби, одного из создателей группы «Блумсбери», замужество сестры, с которой связь казалась неразрывной, переутомление вызывали новые и новые приступы болезни. Спасали прогулки и писательство…



Тобиас Стивен

Летом 1907 года Вирджиния, которой исполнилось к тому моменту двадцать пять лет, решила, что ей надо увидеть Жизнь, и отправилась в экспедицию в неизведанные места — быстро меняющиеся новые районы города, куда не так давно дошло метро. Об этой «экспедиции» Вирджиния написала в записке своей подруге Вайолет Дикинсон:

«Но сегодня утром я поняла, что должна увидеть Жизнь, поэтому доехала на метро в **Голдерс-Грин** и дошла по пыльным полям до **Хампстеда**; присела на одном из них и съела свои сэндвичи… Потом я нашла ферму с чучелом сойки в окне, где люди сидели за воскресным ужином; затем я поднялась на вершину холма и увидела собор Святого Павла с одной стороны и Харроу с другой».

> Когда-то **Голдерс-Грин** был уединенной частью сельской местности Мидлсекса, тихим местом, изолированным от Лондона грядой холмов. Его название, по мнению историков, связано с именем семьи Годьер, явно французского происхождения. Есть записи от 1240 года, указывающие на то, что земли принад-

лежали рыцарскому ордену Святого Иоанна. Первые жилые строения появились в этих местах только в XIX веке, вокруг маленького англиканского прихода – жители занимались производством кирпича. В 1895 году рядом с Хуп-лейн открыли еврейское кладбище Голдерс-Грин, где в 1897 году было совершено первое захоронение, и район постепенно стал заселяться представителями еврейской общины; в 1921 году была построена первая синагога. Община сильно выросла и укрепилась уже в 30-х годах XX века. Этому способствовало строительство станции метро в 1907 году и открытие трамвайной линии в 1910-м – получив транспортную сеть, Голдерс-Грин стал быстро расти и вскоре превратился в оживленный транспортный узел, процветающий торговый район и обширный пригород. Вирджиния прибыла в пригород на метро, или, как она назвала его, по «двухпенсовой линии». Центральная Лондонская железная дорога называлась так потому, что в течение многих лет после ее открытия (1900 год) стоимость

проезда между двумя любыми станциями составляла два пенса. С развитием Северной линии в 1905 году под парком Хампстед-Хит был проложен туннель, станция которого находилась в незастроенных полях Голдерс-Грин.

История пригорода **Хампстед-Гарден** не очень обычна: еще в 1898 году британский философ-социалист Эбенизер Говард издал книгу под названием «Города-сады будущего» (наверняка ее читал и Ленин) и породил первое зеленое движение в истории – мысли философа способствовали формированию нового левого движения «Город-сад» и попыток построения подобных городов в Великобритании в начале XX века. Когда жительница пригорода Хампстед (название происходит от англосаксонских слов ham и stede, означающих «владение»), поклонница философа Генриетта Варнетт, узнала о планах 1899 года на строительство метро, она решила, что надо немедленно начинать борьбу за «Город-сад»: она выросла в бедности, в центре Лондона, и всю жизнь шла к мечте жить в пригороде. Вместе с мужем,

Сэмюэлем Барнеттом, они умудрились убедить Итонский колледж продать им землю и застроили ее уютными домами в стиле деревни из романов Агаты Кристи – доступным и симпатичным жильем с садиками. Как и следовало ожидать, «Город-сад» в наше время стал элитным районом Лондона – в нем проживали и проживают такие персонажи, как Тим Бертон, Бьорк, Кейт Уинслет, Стинг, проживал там и Алишер Усманов.

Голдерс-Грин и Хампстед (запись в Дневнике. Июль. 1907 год)

В прошлое воскресенье, 6-го числа, если быть точной, я совершила экспедицию, которая, как мне кажется, заслуживает упоминания. Двухпенсовая линия теперь проложена до [района] Голдерс-Грин, так что, спускаясь под землю, покрытую тротуарами и домами у одной станции, вы поднимаетесь к нежно-зеленым полям у другой; пепельный полумрак, прохлада и холодное электрическое освещение сменяются более приятным дневным светом. Действительно, в воскресенье было ясное небо и солнце, и буйному праздничному настроению толпы имелось какое-никакое оправдание. Что ж, все мы вышли на Голдерс-Грин; этим термином я называю тенистый треугольник между дорогами, который был занят скоплением праздных людей, словно пчелами, присосавшимися к яркому и пышному цветку. Их маленький островок служил убежищем от автомобилей, которые постоянно проносились мимо, чуть ли не сбривая края зелени, то сигналя клаксонами, то издавая хлопки,

словно играя какую-то мелодию. Некоторые из нас — тут я должна поддержать свою компанию — сочли это слишком театральным и выбрали одну из четырех дорог в качестве пути за город. Но ни одна настоящая проселочная дорога, насколько я помню, не бывает так заполонена огромными бочкообразными автомобилями, а разодетые люди не ходят такими кучками, толпами и вереницами, чтобы приходилось постоянно вилять в сторону, дабы их обойти и в кого-то не врезаться. По обеим сторонам, однако, тянулись поля, хотя прежде, чем пролезть под изгородью, запрещавшей на них ступать, пришлось подавить в себе какой-то инстинкт соблюдения правил. Кажется вполне естественным, что все открытые пространства должны быть огорожены или доступны только за деньги, и половина людей, как по мне, держались дороги, повинуясь именно этому убеждению.

Мой путь лежал через поросшее высокой травой поле к небольшой насыпи — вот бы знать настоящие деревенские названия! — и время от времени мне попадались борозды, подобные тем, что оставляет на воде корабль, и заставляющие думать, что до меня здесь побывали смелые путешественники. Но пока я слышала звуки металла,

я не могла почувствовать себя свободной. Сейчас уже трудно описать пейзаж, ибо он действительно был необычным. В Голдерс-Грин всюду красный кирпич; особенно выделяются огромные фабрики и железнодорожные сооружения; на севере (кажется) стояла одна обособленная деревушка — группа типично деревенских домишек на холме, увенчанном церковным шпилем. Нас разделала мягкая земля, поросшая высокой травой и переходящая в небольшие холмики, а также один достаточно крутой склон прямо передо мной. Старые, покрытые коркой лишайника изгороди, ручейки и поля с пасущимися на них коровами — все, казалось, доказывает, что это часть заброшенного мира, и тут в поле зрения попадает линия вилл, похожих на детские кубики. Вереница движущихся на небольшом расстоянии голов указала мне, как я и ожидала, на существование обычной дороги, которая ведет в Хампстед и по которой можно вполне законно прогуляться. Я присела возле кустов, закрывавших все виды, кроме полей, и съела свой обед. Прогулка, которую я предприняла после этого, почему-то не была такой увлекательной, как обычные прогулки по настоящим полям. Мне чудилась пыль, усталость и тысячи других досад-

ных неудобств по пути к той прорехе в земле, где я должна была найти настоящую дорогу и людей. Не знаю, почему меня так тянуло туда. Совсем недавно это была пешеходная дорожка, но очаровательно то, что она привела меня к настоящей сельской ферме с двором и собакой; я заглянула в окно и увидела семью за ужином, а в коробке у них лежало чучело сойки.

* * *

В эти же годы Вирджиния наконец начала писать первый роман «По морю прочь»: и, хотя многие критики сочли его не самым выдающимся ее произведением, в нем уже появились характерные для писательницы черты — яркие и оригинальные ассоциации, образность, эстетичность. Роман был закончен в 1913 году, но опубликован только в 1915-м — писательница редактировала его более десяти раз, добиваясь совершенства. Ее «поток сознания» оказался разнообразен и полон любви к жизни во всех ее проявлениях. Вот, например, каким странным существом оборачивается Лондон в романе.

THE . . .
VOYAGE OUT

BY

VIRGINIA WOOLF



LONDON
DUCKWORTH & CO.
3 HENRIETTA STREET
COVENT GARDEN, W.C.
1915

Обложка книги «По морю прочь»

Отрывок из романа «По морю прочь» (1915 год)

<…> Экипаж, мерно подрагивая, вскоре вывез их из Вест-Энда и окунул в Лондон. Ей представилось, что весь остальной Лондон — один необъятный завод, где все жители — рабочие, а Вест-Энд со своими электрическими фонарями, отражающими желтый свет зеркальными витринами, аккуратными домиками и маленькими подвижными фигурками — семенящими по тротуарам или колесящими по мостовым — и есть единственное изделие этого завода. А еще ей представилось, что Вест-Энд — это маленькая золотая кисть на краешке огромного черного плаща. <…>

Тут экипаж встал, потому что, двигаясь дальше, он рисковал быть раздавленным, как яичная скорлупа. Широкая Набережная, где хватало места и для пушек, и для кавалерийских эскадронов, теперь сузилась до мощенного булыжником проезда, до отказа забитого телегами; в нос ударили запахи солода и растительного масла. Пока ее муж читал наклеенные на кирпичную стену

объявления об отправке судов в Шотландию, миссис Эмброуз стала делать отчаянные усилия что-нибудь разузнать. Однако все окружающие, окутанные желтоватой дымкой, были целиком поглощены погрузкой мешков на телеги, и от них не удалось добиться ни помощи, ни внимания. Но тут свершилось чудо — к мистеру и миссис Эмброуз подошел старик, осведомился об их затруднениях и предложил подвезти их до корабля на своей лодке, пришвартованной у подножия лестницы. Недолго поколебавшись, они вверили себя старику, уселись в лодку и вскоре уже раскачивались на волнах, а Лондон превратился в два ряда зданий по обе стороны, зданий квадратных и зданий длинных, вытянувшихся в линии, как игрушечная улица из детских кубиков.

В течении реки чувствовалась великая мощь; здесь и там в воде плескались блики желтого света; грузные баржи спускались вниз, опекаемые юркими буксирами; быстрее всех носились полицейские катера; ветер дул в сторону моря.

Укутав головы газовыми платками, женщины вышли на палубу. Теперь судно ровно шло вниз по реке, мимо темных силуэтов стоящих на якоре кораблей, а Лондон превратился в огненный рой, над которым мерцал бледно-желтый ореол. Го-

рели огни больших театров, огни длинных улиц, светились бесчисленные соты домашнего уюта и одинокие огни в вышине. Тьма никогда не поглотит их, сотни лет уже тьма не опускалась на это место. Жутко было сознавать, что город обречен сверкать до конца времен все так же и все там же, по крайней мере, это было жутко сознавать людям, пустившимся в морские странствия. В их глазах город был подобен отделенному от остальной земли кургану, на котором человек оставил вечные рубцы и зажег на нем вечное пламя. С палубы корабля им показалось еще, что город похож на трусливо припавшего к земле, сидящего на корточках скрягу.

* * *

Вирджиния, как утверждали ее современники, в этот период своей жизни была невероятно красива древней, изысканной красотой. В перерывах между приступами болезни и напряженной работой она умудрялась жить бурной светской жизнью, посещать театры и вечеринки, танцевать в парке в костюме Клеопатры или изображать ни больше ни меньше как абиссинского принца.



Вирджиния Стивен. 1916 год

Клеопатра заворожила Вирджинию еще в юности как экзотический, дерзкий и чувственный образ. В ее воображении она вдобавок ассоциировалась с русскими танцовщицами балета, ставшими, в свою очередь, символом свободного от закостенелых норм искусства (половецкие пляски, к примеру, англичане назвали «прыжками диких»). Лондонцы, между прочим, очень хорошо приняли «Русские сезоны», организованные Сергеем Дягилевым в Великобритании, – у них даже одно время появилась мода на свадьбы в «русских» костюмах.

В 1910 году Вирджиния приняла участие в розыгрыше, привлекшем даже внимание прессы: переодевшись эфиопом и с приклеенными усами, она вместе с братом Адрианом и друзьями явилась на флагманский линкор королевского военно-морского флота «Дредноут» в Лондонском порту. Они изображали иностранную делегацию во главе с императором Абиссинии — самое удивительное, что моряки и чиновники поверили, а Daily Mirror отвела событию первую полосу.

Накануне Первой мировой войны Британская империя занимала территорию в 35 млн км^2 с населением свыше 400 млн человек, что составляло более пятой части площади земной суши и четвертую часть населения мира — ну не могла молодежь этого не замечать и не думать. Это, говоря современным языком, было великолепное высказывание о глупости имперского взгляда, страсти к церемониям и викторианскому наследию!

Не побоялась Вирджиния и поселиться в одном доме с молодыми мужчинами — им с братом Адрианом в 1911 году снова пришлось переехать. На сей раз в дом на **Брансуик-сквер** (от Гайд-парка минут двадцать на автобусе по прямой по Оксфорд-стрит, семь минут пешком до центра Блумсбери и Британского музея).

> **Площадь Брансуик-сквер** расположена на восточной границе Блумсбери и сегодня представляет собой зеленый сквер, способствуя славе Блумсбери как одного из самых зеленых районов. Застраивать площадь начали в конце XVIII века, назвали в честь Каролины Брауншвейг-Вольфенбюттельской, супруги короля

Георга IV (Брауншвейг по-английски почему-то стал Брансуиком!). Увы, но после войны ни один из первых домов не сохранился. Кстати, Брансуик-сквер не единожды упомянута в английских романах: на этой площади жили герои «Эммы» Джейн Остин и «Ярмарки тщеславия» Уильяма Теккерея.

Как ни отговаривали Вирджинию ее сводный брат Джордж Дакуорт и подруга Вайолет Дикинсон, как ни напоминали о покойной матери, которая была бы недовольна (для одинокой женщины подобное проживание считалось скандальным, и Джордж пришел в ужас), — Вирджиния поступила так, как хотела, и в результате нашла счастье. В том же доме, вместе с другими молодыми писателями, поселился и прибывший из длительной командировки с Цейлона Леонард Вулф. Естественно, что он постоянно виделся с Вирджинией, живя в одном доме, и уже через месяц решил, что влюблен. Тем более что его друг Литтон Стрейчи предлагал ему на ней жениться еще в 1909 году, утверждая, что она «единственная женщина с мозгами». Ради Вирджинии Леонард Вулф оставил дипломатическую

службу и тоже занялся литературным творчеством, а позднее политикой и социологией, стал идеологом Лиги наций, известным британским издателем.



Вирджиния Вулф и Леонард Вулф, 23 июля 1912 год, фото Джорджа Дакуорта

Меньше чем через год — 10 августа 1912 года — молодые люди обвенчались в ратуше Сент-Панкрас. Свидетелями стали сестра и брат Вирджинии, Ванесса и Джордж Дакуорт. Вирджиния Стивен стала, наконец, Вирджинией Вулф. И не пожалела — всю оставшуюся жизнь она и в дневнике, и в письмах близким неизменно утверждала, что счастлива: «…никто не скажет обо мне, что я не знала настоящего счастья».

Какое-то время Вулфы продолжали жить на Брансуик-сквер, но в октябре 1912 года переехали в небольшую квартиру по адресу Клиффордс-Инн, 13, дальше на восток от Блумсбери. Эта квартира, увы, не дожила до наших дней.

III. Воронка от взрыва на Пикадилли



Клиффордс-Инн, Лондон

В 1914 году Германия оккупировала Бельгию, и британское правительство, как член Антанты, в ответ объявило войну. Война, неожиданно для многих, стала войной технологий — и Лондон оказался мишенью для немецких дирижаблей и самолетов. В первое время немцы бомбили Англию, но не трогали Лондон — причина сегодня кажется удивительной: между кайзером Вильгельмом II и британской правящей династией

были давние родственные связи. Однако вскоре запрет был отменен, и впервые за многие столетия боевые действия непосредственно затронули город, а он оказался очень плохо подготовлен. Ранним утром в первый же день нового 1915 года торпедой немецкой подводной лодки в Ла-Манше было затоплено судно *Formidable*, погибло порядка 600 человек. А первый воздушный налет на Лондон состоялся в мае 1915 года, когда ночью дирижабль «Цеппелин» долетел до Восточного Лондона, сбросив на него около 90 зажигательных бомб. Самая страшная бомбардировка Лондона произошла 8 сентября 1915 года, когда были разбомблены склады к северу от чудом уцелевшего собора Святого Павла, Ливерпульский вокзал, разрушены несколько домов. Бомбардировки Лондона привели к гибели гражданских людей и самым удручающим образом сказалась на настроениях жителей Лондона: внезапная атака без предупреждения и беспомощность противовоздушной обороны вызывали панику и страх.

Лондонцы, как жители любого из городов, чьи правители ведут войну где-то далеко, пытались жить обычной жизнью — или пытались убедить себя, что пытаются так жить. Блумсберийцы к войне отнеслись с откровенным ужасом, но

без всякого патриотизма: они не стремились на фронт, избегали и призыва, и наказаний за увиливание. Это тоже было относительно новое явление, возникшее в XX веке, — пацифизм: с появлением современных технологий война стала слишком чудовищной. Освобождались от армии всеми возможными способами — и посредством протестов, и по здоровью, и путем службы в разных госструктурах. Леонард Вулф не был пацифистом, но остался с Вирджинией по состоянию здоровья — как своего, так и ее.

Запись в Дневнике. 1 января, пятница. 1915 год

<…> На полпути домой мы услышали: «Британский военный корабль… Британский военный корабль» — и узнали, что *Formidable* затонул в канале. Прошлой ночью нам не давали спать новогодние колокола. Поначалу я решила, что это победный звон.

Запись в Дневнике. 3 января, воскресенье. 1915 год

<…> Во второй половине дня мы пошли на концерт в Квинс-холл. Учитывая, что мои уши вот уже несколько недель были свободны от музыки, я считаю патриотизм низменным чувством. Под этим я имею в виду… что музыканты исполняли национальный и прочие гимны, а все, что я могла чувствовать, — это полное отсутствие эмоций во мне и всех окружающих. Если бы британцы открыто говорили о туалетах и совокуплениях, тогда их могли бы взволновать универсальные эмоции. Как бы то ни было, призыв к ощущению единства безнадежно запутался в шинелях и шубах. Я начинаю ненавидеть себе подобных в основном после того, как увижу их лица в метро. Мне и правда приятней смотреть на сырую говядину и серебристую селедку. Но в итоге пришлось простоять 40 минут на вокзале Чаринг-Кросс, и домой я вернулась поздно. <…> Кроме того, воскресный Лондон вечером со всеми его электрическими шарами, наполовину закрашенными голубой краской, — самое мрачное место

из всех. Длинные грязные улицы, едва хватает дневного света, но недостаточно электрического, чтобы разглядеть голое небо, невыразимо холодное и плоское.

Из эссе «О глухоте к греческому слову», 1925 год

<…> Всеобщее потрясение, вызванное Первой мировой войной, было настолько внезапным, что мы еще опомниться не успели… а наши чувства превратились в груду обломков, а сами мы — в безмолвных свидетелей, наблюдающих за ними искоса, со стороны. <…>

В начале войны некоторые лондонские предприятия пришли в упадок, строительство новых зданий замедлилось, а спрос на экспорт снизился. Постепенно промышленность переориентировалась на военные нужды, мужчины уходили на войну, а их места на фабриках и других рабочих местах занимали женщины и те, кто не подходил для призыва, — благодаря войне была достигнута практически полная занятость. В экономическом плане Лондон даже до определенной степени процветал во время Первой мировой войны.



Вирджиния Вулф. 1923 год

Запись в Дневнике. 20 января, среда. 1915 год

<…> Тем временем государство тратит столько денег, что французы, испуганно стоящие на коленях, восхищенно разевают рты. Мы обязательно победим, и сделаем это эффектно, в последний момент применив все наши способности и богатство для достижения цели.

Запись в Дневнике. 1 февраля, понедельник. 1915 год

<…> Мы поехали в Лондон: Л. в Лондонскую библиотеку, а я в *Days*. Мы прогулялись по Грин-парку. На Сент-Джеймс-стрит раздался жуткий взрыв: люди выбегали из клубов, останавливались и глазели по сторонам. Однако не было ни цепеллина, ни аэроплана — вероятно, просто лопнула большая шина. Но у меня, да и у большинства людей, полагаю, есть инстинкт, из-за которого любой внезапный шум кажется взрывом, а темный объект в небе — немецким аэропланом. И всегда не верится, что кто-то мог пострадать. <…>

* * *

Грин-парк расположен всего в нескольких шагах от Букингемского дворца и Пикадилли – и это маленький оазис спокойствия в беспокойном центре города. Когда-то в этом месте протекала река Тайберн и находилось болотистое кладбище для прокаженных. Пустырь был

благоустроен усилиями короля Генриха II, который в 1668 году получил эту землю во владение и решил, что ему нужно больше гулять – но из соображений безопасности по собственной территории, от Гайд-парка до Сент-Джеймсского парка. Генрих проложил дорожки, построил ледник для охлаждения напитков в жару. Он очень полюбил свой зеленый уголок за тишину и уединенность и гулял в нем ежедневно. Грин-парк, в отличие от других королевских парков, мало украшен – в нем нет клумб и куртин; согласно легенде, вырвать все цветы приказала королева-консорт Екатерина Брагансская, застав короля Карла II за составлением букета для другой женщины. Парк прославился и экстремальными развлечениями – в XVIII–XIX веках в нем запускали фейерверки и воздушные шары, а также стрелялись на дуэлях аристократы. В 1840 году тихий парк стал местом покушения на королеву Викторию.

Война никогда не проходит бесследно — в феврале 1915 года Вирджинию накрыл очередной

приступ болезни с тревогой, голосами в голове, бессонницей — родственникам пришлось обратиться к профессионалам, Леонард не мог управиться с женой самостоятельно. Болезнь продлилась почти год — снова писать и радоваться жизни Вирджиния смогла только в 1917 году, уже в Лондоне конца Первой мировой войны, в новом доме на Хогарт-хаус. Переезд в Хогарт-хаус, чье название впоследствии стало названием издательства, существующего до сих пор, пришелся на один из самых несчастных и неустроенных периодов в жизни Леонарда и Вирджинии.

В новой дневниковой тетради, начатой после болезни, Вирджиния описывает обычный, но счастливый день: они с Леонардом ходят по магазинам и она покупает самое любимое — бумагу и ручки. Они проходят по Гоф-сквер, мимо музея английского писателя и лексикографа **Сэмюэла Джонсона**, где он жил с 1748 по 1759 год и написал «Словарь английского языка», а на железнодорожной станции (увы, сегодня она уже не существует, закрыта в 1929 году), встречают журналиста, редактора литературного приложения Times сэра Брюса Литтелтона Ричмонда (1871–1964). Встреча для Вирджинии знаковая — ее рецензия на сборник Ф. М. Достоевского «Игрок

и другие рассказы» как раз ожидала публикации в литературном приложении.

Запись в Дневнике. 8 октября, понедельник. 1917 год

Данная попытка начать новый дневник возникла под влиянием импульса, вызванного обнаружением в ящике моего шкафа старого тома за 1915 год. <…> Таким образом, буду следовать плану, написанному после чая, написанному неблагоразумно, и, кстати, отмечу, что Л. пообещал добавить свой текст, когда ему будет что сказать. Его скромность надо преодолевать. Сегодня мы покупали Л. одежду на осень, а мне — бумагу и ручки. Для меня это был самый счастливый день, который только можно придумать. Конечно, безостановочно лил дождь. Лондон, по ощущениям, совсем не меняется и заставляет меня думать о том, каким изменчивым он казался в детстве. В магазине был покупавший сапоги мужчина, который настолько разбирался в обуви, что знал разные фасоны и способы пошива и был крайне недоволен, когда ему сказали, что его собственная пара «хорошая и крепкая». «Я ненавижу хорошие и крепкие сапоги», — огрызнулся он. Очевидно, у него особый вкус в обуви.

Мы прошли через Гоф-сквер, дом доктора Джонсона — прекрасное, очень ухоженное место, и не такое обшарпанное, как я ожидала. Маленькая площадь, примыкающая к Чансери-лэйн, отдана под типографии. Это лучшая часть Лондона с визуальной точки зрения, но точно не для жизни. Неся свою рукопись в *Times*, я чувствовала себя настоящей писакой. Мы оставили ее у секретаря и столкнулись на платформе Ладгейт-Хилл с Брюсом Ричмондом, сияющим безупречным джентльменом в белых перчатках. Он махнул нам шляпой и исчез. <…>

* * *

Сэмюэль Джонсон (1709–1784) – английский литературный критик, лексикограф и поэт эпохи Просвещения. Его имя стало нарицательным для английской культуры XVIII столетия, и до сих пор он знаком каждому британцу со школьной скамьи – в 1755 году Джонсон составил первый словарь английского языка, в который вошло больше 42 тысяч слов. Джонсон стал живым примером того, как воля и труд могут преодолеть самые серьезные препятствия. Родившись

в семье разорившегося книготорговца, будущий поэт не имел шансов на образование и не получил протекции декана собора Св. Патрика и писателя Джонатана Свифта для поступления в Оксфордский университет – но получил степень магистра в 46 лет, уже опубликовав словарь и став знаменитым. Всю жизнь он страдал синдромом Туретта, характеризующимся непроизвольными тиками: в те времена эта болезнь считалась одержимостью бесами. Однако если Джонсону удавалось заставить человека себя выслушать, тот попадал под его обаяние навеки. К тому же Джонсон обладал незаурядным чувством юмора, проявившимся даже в словаре: например, слово «паразит» в его интерпретации получило определение «тот, кто часто присутствует на обедах в богатых домах, лестью добиваясь приглашения». После публикации словаря Джонсон основал знаменитый литературный клуб, заседания которого регулярно посещал экономист Адам Смит. Помните, в «Евгении Онегине»: «Зато читал Адама Смита / И был глубо-

кий эконом, / То есть умел судить о том, / Как государство богатеет, / И чем живет, и почему / Не нужно золота ему, / Когда простой продукт имеет».

Дом доктора Джонсона в лондонском Сити представляет собой редкий образец здания XVII века, сохранившегося на территории так называемой «Квадратной мили» (площадь в границах стены древнеримского происхождения – 2,9 км^2 в самом центре города). Оно находится по адресу Гоф-сквер, 17, в маленьком пешеходном дворе среди переплетения старинных улочек. Джонсон жил и работал в этом доме с 1748 по 1759 год и здесь же завершил составление своего словаря. В 1912 году здание приобрел член парламента Сесил Хармсворт, отремонтировал его и открыл для посещения. Сегодня оно принадлежит благотворительному фонду, в нем проводятся различные выставки и мероприятия. А напротив дома стоит памятник коту, причем вполне конкретному – коту Ходжу доктора Джонсона: их отношения тоже были в своем роде революционными – в XVIII веке англичане

только начинали дружить с домашними животными, и Джонсон подал пример один из первых! У бронзовых лап кота лежат бронзовые же устрицы – триста лет назад они были настолько доступными и дешевыми, что ими питались и коты.


HOGARTH HOUSE

Вход в Хогарт-хаус. Фото А. Русанова

Хогарт-хаус был выбран Леонардом и семьей Вирджинии не просто так — он находился достаточно далеко от центра, в тогда еще пригородном районе Ричмонд, на улице с прекрасным названием Парадайз-роуд (Райская улица). В начале века это была зеленая окраина, с аллеями и газонами, и прекрасно подходила для смены обстановки, рекомендованной врачами Вирджинии. Вулфы снимали половину дома в георгианском стиле, в этом же доме создали издательство Hogarth Press и отпечатали первые книги, здесь же в подвале прятались от бомб уже во Вторую мировую войну.

Здание **Хогарт-хаус** на Парадайз-роуд, 34 было построено в 1750 году для богатой вдовы и неоднократно перестраивалось – еще в 1870 году оно было разделено на два отдельных дома, один из которых и снимали Вирджиния с Леонардом. Сегодня здание находится в частном владении, но на нем есть памятная доска исторического наследия *English Heritage Blue Plaque*. Кстати, забавно, но в Лондоне не один Хогарт-хаус – второй был построен между

1713 и 1717 годами в уголке фруктового сада в Чизвике для пастора лютеранской церкви Святой Марии, занимавшегося благотворительностью и переправлявшего беженцев из голодавшей в начале XVIII века Рейнской области в Америку. В 1749 году дом был выкуплен у сына пастора художником Уильямом Хогартом, автором сатирических и нравоучительных картин, до сих пор актуального «Трактата о красоте» и «Закона Хогарта», первого в мире закона об авторском праве. Сейчас в доме находится музей художника, а специалисты из расположенного рядом Кью-гардена восстановили остатки фруктового сада, посаженного еще в XVI столетии.

Запись в Дневнике. 22 октября, понедельник. 1917 год

Близится полнолуние, а вечерние поезда постоянно набиты людьми, покидающими Лондон. Сегодня утром мы увидели дыру от взрыва на Пикадилли. Движение было остановлено, а народ медленно обходил это место, в сравнении с которым рабочие, что его заделывали, выглядели крошечными. Все окна *Swan & Edgar* закрыты мешковиной или досками, видны выглядывающие продавщицы, но не товары, хотя говорят, что «дела в универмаге идут как обычно». Окна разбиты хаотично: некоторые с этой стороны, некоторые с той, а другие и вовсе целы. Однако наша Лондонская библиотека невредима: мы нашли нужные книги, простояли в метро всю дорогу до Хаммерсмита и только что вошли домой. <…>

* * *



Ансамбль площади Пикадилли. Открытка 1911 года

Swan & Edgar – здание в историческом центре Лондона, на улице Риджент-стрит; образует ансамбль площади Пикадилли. Оно было построено в начале XIX века по проекту архитектора Джона Нэша, до 1970-х годов в нем располагалась торговая компания *Swan & Edgar Limited* – магазины заполняют это здание и сегодня.

Запись в Дневнике. 6 декабря, четверг. 1917 год

Когда я вчера вечером писала, что день только начинается, то еще не знала, насколько же была права. Мысли наши, казалось, далеки от воздушных налетов; мрачная ночь; луна показалась лишь часов в одиннадцать. Однако в пять утра меня разбудил Л., и я мгновенно ощутила выстрелы, словно все органы чувств включились, полностью готовые. Мы схватили одежду, одеяла, часы и фонарик, а залпы звучали все ближе, пока мы спускались по лестнице, чтобы, закутавшись в одеяла, усесться вместе со слугами на древний черный сундук в кухонном коридоре. Сказав, что она себя плохо чувствует, Лотти присоединилась ко всеобщему шушуканью, шуткам и обсуждению, которые практически заглушили выстрелы. Стреляли очень быстро и, очевидно, в сторону Барнса. Постепенно звуки становились все более отдаленными и, наконец, прекратились, после чего мы вернулись обратно в постели. Через десять минут стало ясно, что оставаться нельзя: стреляют по Кью. Мы снова

вскочили и на этот раз суетились куда больше, так как помню, что я забыла часы и чулки, а мой плащ тащился по полу. Слуги были внешне спокойны и даже веселы. На самом деле человек говорит сквозь шум скорее от скуки и того, что вообще приходится разговаривать в 5 утра, чем по другим причинам. В какой-то момент залпы были настолько громкими, что перед взрывом мы слышали свист летящего снаряда. Одно окно, кажется, даже задребезжало. Потом тишина. Нам сварили какао, и мы снова легли. Когда привыкаешь прислушиваться к звукам, некоторое время потом не можешь отключиться. Так было и в начале седьмого, когда из конюшен выкатывались телеги, гудели автомобили, а затем раздавались протяжные призрачные свистки, которые, полагаю, созывали бельгийских рабочих на завод боеприпасов. Наконец, вдалеке послышались горны; Л. к этому времени уже спал, но исполнительные бойскауты прошли по нашей дороге и разбудили его; меня же поразило, насколько сентиментальными были соображения касательно этих звуков и как тысячи пожилых дам в тот момент возносили свои благодарственные молитвы, испытывая при виде его (бойскаута с маленькими ангельскими крыльями) радостное

ликованье. Потом я легла спать, но слуги сидели, высунув головы из окна на мороз, такой что иней белел на крышах, до тех пор, пока не прекратился звук горна, после чего они вернулись на кухню и были там до завтрака. Логика происходящего не укладывается в голове.

Сегодня мы занимались печатью и обсуждали налет, в котором, согласно купленному мной выпуску *Star*, участвовали 25 бомбардировщиков *Gotha*, атаковавших пятью эскадрильями, и два из них были сбиты. Совершенно тихий прекрасный зимний день, поэтому завтра утром около 5:30, возможно…

* * *

Вирджиния и Леонард испугались не просто так: их дом на Парадайз-роуд находился всего в нескольких километрах от района Барнс и садов Кью, расположенных прямо вдоль Темзы, в направлении из центра на запад. Темза течет через самый центр города, мимо правительственных зданий, важной инфраструктуры – опасность была нешуточной, бомбардировщики, судя по всему, вдоль реки и летели. Сообщившая об этом газета *Star*

издавалась с 1788 по 1960 год и была городской новостной газетой.

Записи в Дневнике. 1918 год

Мы отправились в Хэмптон-Корт впервые, кажется, с тех пор как катались там на коньках. Мы прошли через Буши-парк, и табун лошадей воспользовался возможностью перебежать с одной стороны на другую. Позолоченная статуя окружена льдом, поверх которого был дюйм воды, и я пробила корку своим зонтиком. Клумбы в парке одинаково голые, за исключением одного желтого и розового цветков, полагаю примул. Рядом стояли мешки, которые, по мнению Л., могли служить инвентарем для гимнастических упражнений миссис Крейтон. Мы заглянули в ее окна и, как обычно, не увидели ничего, кроме огромных пергаментных фолиантов, думаю, итальянской истории. Мы прошли по возвышенному берегу под деревьями к реке и сели на одну из полукруглых пустых деревянных скамеек. Было холодно, но безветренно. Потом поехали на трамвае в Кингстон и пили чай в *Atkinsons* [?], где больше одной булочки в руки не отпускают. Сейчас на всем экономят. Большинство мясных лавок закрыты, а та, которая работает, оккупирована толпой. Нельзя купить ни шоколад, ни ириски, а

цветы стоят так дорого, что вместо них я собираю листья. На большинство продуктов у нас талоны. Лишь витрины магазинов тканей изобилуют товарами. В других же выставлены консервные банки или картонные коробки, несомненно пустые. (Это попытка писать в лаконичном историческом стиле.) Внезапно начинаешь замечать войну повсюду. Полагаю, где-то на фермах Нортумбрии или Корнуолла еще сохранились нетронутые очаги роскоши, но в целом у всех столы довольно пустые. Газеты, однако, процветают, и за 6 пенсов мы получаем достаточно бумаги для розжига на несколько недель. Человек по имени Ричардсон разрабатывает сложнейший математический метод голосования в окопах.

* * *

Буши-парк – один из королевских парков Лондона. Королевские парки расположены на землях, изначально принадлежавших британской короне, и в прежние времена использовались для отдыха и развлечений королевских семей. Поскольку монархия в Англии существует до сих пор, парки до сих пор остаются в частной собственности и ни-

когда не переходили в собственность государства, как, например, во Франции или в России. Использование этих парков, на самом деле, в буквальном смысле зависит от милости королевской особы! Еще с 1851 года существует специальное агентство The Royal Parks, занимающееся всеми хозяйственными и правовыми вопросами жизни парков. Лишь один раз на статус парков покусился в 2010 году тогдашний мэр Лондона Борис Джонсон, однако дело завязло в бюрократических коридорах и ничем не закончилось. Поэтому до сих пор, по идее, король может запретить гулять в королевских парках дамам с собачками – к счастью, кажется, никому не приходит в голову, что нечто подобное может прийти в голову ему.

Буши-парк когда-то был любимым местом охоты короля Генриха VIII, и он забрал его в собственное пользование после приобретения Хэмптон-Корта. Буши-парк традиционно считался спортивным парком – в нем и сегодня можно побегать, позаниматься физкультурой, конным спортом. В парке много живот-

ных и до сих пор живут олени! Во время Второй мировой войны Буши-парк вошел в историю – в парке размещалась военная база под командованием генерала Дуайта Д. Эйзенхауэра, именно отсюда была спланирована высадка десанта в день «Д». Сегодня Буши-парк предлагает, не покидая центра Лондона, полюбоваться осенней листвой самых невероятных расцветок или увидеть недалеко от одного из входов, Крокодиловых ворот, остатки древних пахотных валов.

Позолоченная статуя – это бронзовая статуя древнеримской богини Дианы времен короля Карла II, возвышающаяся в центре декоративного фонтана с бассейном для декоративных рыб. Автор фонтана – знаменитый архитектор Кристофер Рен. Сегодня фонтан самое известное украшение парка.

Луиза Крейтон (1850–1936) – британская писательница родом из Ревеля (современный Таллин), автор книг на исторические и социально-политические темы, активистка, борец за права женщин и расширение их представительства

в Англиканской церкви. После смерти ее мужа Манделля Крейтона, епископа Лондонского (между прочим, представлял англиканскую церковь на коронации Николая II), в 1901 году королевская семья оказала Луизе благосклонность и позволила жить во дворце Хэмптон-Корт. Крейтоны были знакомы с родителями Вирджинии.

Упомянутые Вирджинией загадочные **Нортумбрия и Корнуолл** – просто исторические сельские районы Англии. Королевство Нортумбрия – одно из семи королевств так называемой англосаксонской гептархии, возникшее на севере Британии и существовавшее примерно до середины IX века. В настоящее время это синоним Северо-Восточной Англии, включающей в себя исторические районы графств Нортумберленд и Дарем. А Корнуолл – графство на юго-западе Англии.

* * *

<…> Одна вещь, сказанная Адрианом, позабавила меня. Его пугают лица лю-

дей на вересковой пустоши: «они как у горилл или орангутангов – совершенно нечеловеческие и пугающие», – и он тоже разевает рот, как обезьяна. А. объясняет это войной, хотя я помню и другие его подобные высказывания в прошлом. Возможно, ужасное чувство общности, которое порождает война, словно мы все вместе сидим в одном железнодорожном вагоне третьего класса, привлекает больше внимания к животному в человеке. На днях Л. рассказали, что налеты осуществляют женщины. В разбитых самолетах нашли их тела. Они меньше и легче, поэтому для бомб остается больше места. Возможно, я сентиментальна, но мне кажется, что эта мысль придает войне особый оттенок ужаса.

<…> …я лишь помню, что осознать наличие жизни в другом человеческом существе так же трудно, как прочесть пьесу Шекспира, если книга закрыта. Это пришло мне в голову, когда я увидела Адриана за разговором с высоким заключенным. По всем правилам они должны хотеть убить друг друга. Причина, по

которой легко убить другого, вероятно, заключается в следующем: человек ленится подумать и представить, что значит для него чужая жизнь; воображение инертно, а его безграничные возможности скованы или истощены. Однако дальше я забыла, о чем речь. Заключенному, который выглядел исхудалым и отчаявшимся, похоже, нравилось разговаривать; я встретила его позже, и мы улыбнулись, а караульного рядом не было.

В последний год войны Лондон столкнулся с масштабными проблемами — воздушные налеты привели к гибели мирного населения, большим разрушениям и материальным потерям. К войне присоединилась испанка — грипп резко увеличил смертность. Ситуация была особенно тяжелой в восточных районах Лондона, где жили рабочие, — скученность и бедность способствовали распространению инфекции. Согласно статистике, на Первой мировой войне погибли 124 тысячи молодых лондонцев; в тылу тоже не обошлось без серьезных жертв: в результате налетов немецкой авиации в столичном полицейском округе погибло 668 человек и 1938

получили ранения; в городе была введена карточная система. Во время Первой мировой войны лондонцы впервые в истории начали использовать метро для укрытия от налетов — в 1918 году метро стало бомбоубежищем для 300 тысяч человек. (Во Вторую мировую примеру лондонцев последовали жители Москвы.) Последний воздушный налет состоялся 19 мая 1918 года, и в нем участвовало 19 немецких самолетов — больше, чем в любом другом налете за всю войну. Однако оборона Лондона к этому моменту заметно улучшилась, три немецких самолета были сбиты британскими истребителями, а еще два — уничтожены зенитными орудиями.



Фото последствий бомбардировки Лондона в 1915 году

Запись в Дневнике. 21 января, понедельник. 1918 год

<…> Тут меня прервали прямо перед описанием Лондона в часы заката солнца и восхода луны. Я ехала на втором этаже автобуса от Оксфорд-стрит на вокзал Виктория и наблюдала, как пассажиры любуются этим зрелищем с тем же чувством интереса и немым вниманием, как в бельэтаже перед каким-нибудь театрализованным представлением. Весенняя ночь, голубое небо с дымкой над домами. Магазины все еще были освещены, но не фонарями, так что всюду висели полосы света. На Бонд-стрит я не сразу поняла, почему в конце улицы горит большая люстра, но оказалось, что это несколько витрин, выходящих на дорогу, с огнями на разных уровнях. На углу Гайд-парка луч прожектора пробивался через синеву — часть спектакля на сцене, где было изумительно тихо. Меня поразила нежность этой сцены на фоне сумеречного Лондона. Дома величественно возвышались. Время от времени при появлении луны кто-нибудь отмечал возможность воздушного налета. Однако этого не произошло; ближе

к ночи налетели облака.

* * *

Вокзал Виктория популярен в литературе – с него доктор Ватсон уезжает на экспрессе, чтобы избежать встречи со злодеем Мориарти и его приспешниками; Оскар Уайльд отправил туда героев пьесы «Как важно быть серьезным», а Гарольд Пинтер его именем назвал свою пьесу. Вокзал Виктория был спроектирован еще в 1850-х годах, чтобы связать центр города с южными районами – железные дороги строились в столице Англии не централизовано, поэтому на южной стороне Темзы станций было целых три, а на северной – ни одной. Поэтому вокзал Виктория был спроектирован поэтапно, чтобы соединить сначала Брайтон и Южное побережье, а потом Чатем и Дувр. Строительство множества веток, сложные переговоры между разными железнодорожными компаниями заняли несколько лет – когда читаешь все перипетии строительства железных дорог в Лондоне в XIX веке, через какое-то время окон-

чательно перестаешь понимать, какая компания что делала и какой законопроект пыталась продвинуть. Не зря Карл Маркс с Фридрихом Энгельсом изучали капитализм именно в Англии! Вокзал полностью открылся только в 1862 году, но долгое время состоял из двух разных станций в разной собственности, и только в 1925 году обе станции объединились – это оказалось необходимо для создания единой электрической сети.



Вокзал Виктория

Запись в Дневнике. 23 января, среда. 1918 год

<…> Мне придется взять назад свои слова про самый адский месяц года. Есть проблески рая, настолько нежного и теплого, что окно на лестнице было открыто, а я сидела у реки, наблюдая, как на воду спускают лодку, и ожидала увидеть чуть ли не почки на ивах. Вода в реке очень высокая, стремительная и желтая, что свидетельствует о половодье выше по течению. Говорят, прошел сильный дождь. Осмелюсь предположить, что это правда, но культура жизни в Лондоне такова, что со всеми пожарами, электрическим светом, подземным метро и зонтиками я действительно не уверена, обращает ли кто-нибудь внимание на погоду. Однако мы выглядываем на улицу перед сном и видим луну, очень четкую, словно отполированную, и почти полную, часов до девяти или около того, а затем, будто Господь перевернулся во сне на другой бок и случайно нажал кнопку, опускается облачная завеса, мы зеваем и крепко спим.

Запись в Дневнике. 2 февраля, суббота. 1918 год

Первая прогулка за долгое время. Влажный, слегка туманный день. Когда мы выходили, звонили похоронные колокола, а на обратном пути — свадебные. На улицах у магазинов очереди людей за мясом. Гул невидимых самолетов. Обычный счастливый вечер вдвоем, по колено в бумагах.

* * *

Перемирие, после которого наконец закончилась Первая мировая война, было заключено 11 ноября 1918 года в Компьенском лесу, во Франции. Английский адмирал Росслин Уимисс и командующий войсками Антанты маршал Фош приняли немецкую делегацию в железнодорожном вагоне и положили конец бессмысленной бойне, в которой погибли почти 10 миллионов человек, развалились четыре империи, а старая Европа окончательно исчезла. Гертруда Стайн

назвала молодых людей, переживших эту эпоху, «потерянным поколением» – его представителей можно встретить и в романах Вирджинии Вулф. Поэтому внезапно обретший мир Лондон выглядел в глазах Вирджинии не очень радостным, несмотря на народное ликование.

Запись в Дневнике. 11–12 ноября, понедельник – вторник. 1918 год

Двадцать пять минут назад выстрелы возвестили о мире. На реке завыла сирена и не смолкла до сих пор. Несколько человек побежали глазеть в окна. Грачи кружили вокруг и в какой-то момент показались символом некой церемонии не то торжества, не то прощания с погибшими. Очень пасмурный тихий день; тяжелый туман стелется по земле на восток, создавая впечатление чего-то плывущего, волнообразного и утихающего. Мы выглянули из окна и увидели маляра, который бросил взгляд в небо и продолжил работать, ковыляющего по дороге старика с сумкой, откуда торчал батон, а за ним по пятам следовала его дворняжка. Пока что ни колоколов, ни флагов — только вой сирен и периодические выстрелы.

Думаю, нам следовало удовлетвориться мирной обстановкой, кружащими грачами и стелющимся по земле туманом, но мне нужно было к Харрисону [дантисту], а поскольку мы с Л. оба испытывали некоторое волнение, то поехать в Лондон казалось лучшим решением. Разоча-

рование наступило уже через 10 минут в поезде. Толстая неопрятная женщина в черном бархате с перьями и плохими зубами бедняка настаивала на рукопожатии с двумя солдатами: «Это все благодаря вам, парни, и т. д. и т. п.». Она была изрядно выпившей, а вскоре достала большую бутылку пива и заставила их отпить из нее, затем полезла расцеловывать солдат; последнее, что мы видели, — она бежала за поездом, махая рукой этим двум невозмутимым парням. Однако множество подобных дам, нацепивших на себя флаги, наводнили Лондон и в одиночку праздновали победу своим гнусным способом, шатаясь по грязным тротуарам под дождем и оживляясь при виде знамен друг друга. Небеса явно не одобряли происходящее и делали все возможное, дабы погасить сей пыл, но лишь изрядно вымочили их перья и флаги. Такси переполнены огромными красующимися семьями, включая бабушек и младенцев, и все же нет ни единства, ни формы у всех этих блуждающих эмоций. Толпам некуда было идти и нечем заняться — они напоминали детей, у которых затянулись каникулы. Возможно, приличные люди и подавляли свою радость, но чего-то среднего между пьяной грубостью и довольно едким неодобрением не наблюдалось.

Кроме того, дискомфорт испытывали все. Нам понадобилось от 4 до 6 часов, чтобы добраться до дома; мы стояли в очередях и насквозь промокли; многие магазины закрылись, надолго отключился свет, а в голове у людей было одинаковое беспокойство, невозможность угомониться и нежелание при этом заниматься тем, что оставалось.

Полгода спустя, 19 июля 1919 года по всей Великобритании прошли официальные празднования мира с шествиями, массовыми хорами, фейерверками и т. д. Как нарочно, весь день лил дождь… В воспоминаниях Вирджинии всплывают те же мотивы бессмысленности и разочарования, ощущавшиеся ею во время войны.

Запись в Дневнике. 19 июля, суббота. 1919 год

Полагаю, нужно что-то сказать о дне заключения мира, хотя не знаю, стоит ли взять для этого новое перо. Я сижу, высунувшись из окна, и капли дождя, непрерывно барабанящие по листьям, практически поливают мою голову. Примерно через десять минут в Ричмонде начнется шествие. Боюсь, мало кто будет аплодировать членам городского совета, разодетым так, чтобы произвести впечатление во время марша по улицам. Ощущение, будто на стулья надели голландские чехлы, и все уехали за город, оставив меня одну. Я покинута, разочарована и покрыта пылью. Конечно, процессию мы не видели, но заметили мусор на окраине. Дождь прекратился лишь полчаса назад. Зато у слуг было триумфальное утро. Они стояли на Воксхолльском мосту и все видели. Генералы, солдаты, танки, медсестры и оркестры шли часа два. Говорят, это было самое великолепное зрелище в их жизни. Наряду с налетами дирижаблей оно сыграет важную роль в истории семьи Боксолл. Не знаю — мне кажется,

что это фестиваль слуг, призванный умиротворить и успокоить «народ», а дождь все испортил, и теперь, вероятно, придется придумать какое-то дополнительное развлечение. Думаю, именно здесь кроется причина моего разочарования. Есть в этих мирных торжествах какой-то расчет, политика и неискренность. Кроме того, нет в них никакой красоты и очень мало спонтанности. Еще и всюду флаги; слуги вручили нам несколько штук, купленных, полагаю, из снобизма, чтобы удивить нас. Вчера в Лондоне обычные неприятные скучные группы людей, сонных и вялых, ползали, как скопище промокших пчел, по Трафальгарской площади и близлежащим тротуарам. Единственное приятное моему глазу зрелище было создано скорее дуновением ветра, нежели мастерством декораторов; несколько длинных языкообразных вымпелов, закрепленных на верхушке колонны Нельсона, лизали воздух, сворачиваясь и разворачиваясь с неторопливым змеиным изяществом, словно гигантские языки драконов. Театры же и мюзик-холлы были увешаны стеклянными игольницами, которые дольно преждевременно сияли изнутри — их свету, конечно, можно было бы найти гораздо лучшее применение. Однако ночь становилась

все более волнительной и великолепной, и мы, улегшись в постель, еще какое-то время не могли уснуть из-за фейерверков, на мгновение освещавших нашу комнату. (А сейчас, когда с серо-коричневого неба льет дождь, звонят колокола Ричмонда, но церковный звон напоминает лишь о свадьбах и христианских службах.) Не буду отрицать, что мне немного стыдно за свою мрачность, ведь все мы, похоже, должны верить в то, что мы счастливы и довольны собой. Так бывало в дни рождения, когда праздник по какой-то причине шел не по плану, а в детской считалось делом чести притворяться, будто все отлично. Лишь годы спустя понимаешь, какой тогда творился ужас; станет ли мне веселее, если через несколько лет эти послушные стада признаются, что они тоже все видели и понимали и отныне не намерены в подобном участвовать? <…> Когда зажглись первые электрические лампочки и прекратился дождь, мы вышли на улицу около 10 вечера. В течение какого-то времени взрывались фейерверки. Двери паба на углу были открыты, а помещение переполнено; пары танцевали вальс; люди горланили песни так, словно, чтобы петь, нужно обязательно напиться. Мальчишки с фонарями маршировали по Рич-

монд-Грин, размахивая палками. Далеко не все магазины потратились на электрическое освещение. Мертвецки пьяную женщину из высших слоев общества вели под руки двое полупьяных мужчин. Мы следовали за небольшой вереницей поднимавшихся по холму людей. На полпути почти вся иллюминация погасла, но мы продолжали идти, пока не добрались наверх. И тогда мы действительно кое-что разглядели — немного, правда, поскольку сырость убивала краски. Красные, зеленые, желтые и синие шары медленно поднимались в воздух и взрывались овалами света, который рассыпался на мельчайшие искры и исчезал. Все небо то и дело вспыхивало огнями в разных местах. Взлетавшие над Темзой и деревьями ракеты были прекрасны; странным казался их отблеск на лицах людей, но, конечно же, все портил серый туман, отнимавший яркость у огней. Грустно было видеть лежавших к нам спиной неизлечимых солдат в *Star & Garter*, куривших сигареты в ожидании, когда закончится шумиха. <…>

* * *

Ричмонд когда-то был городком на юго-западе от Лондона, на берегу Темзы,

но после открытия железнодорожной станции в 1846 году он постепенно вошел в состав Большого Лондона. Сам городок Ричмонд возник вокруг построенного Генрихом VII в начале XVI века Ричмондского дворца. Поместье было названо Ричмондом в честь графства Ричмонд в Северном Йоркшире, принадлежавшего королю. Ранее поместье называлось Шин – там жили представители королевской династии еще с XIII века: Эдуард I по прозвищу «Молот шотландцев» казнил здесь предводителя борцов за независимость Шотландии Уильяма Уоллеса в 1305 году. Жили в Шине и другие английские короли – Эдуард II построил монастырь кармелиток, Эдуард III отдал много средств и сил на реконструкцию поместья, Ричард II приказал его разрушить, расстроенный смертью своей супруги Анны Богемской. Согласно древним хроникам, большинство королей и королев стремились в Ричмонд как в место увеселения и отдыха. И сегодня этот район привлекает и жителей Лондона, и туристов: в нем много открытых

пространств, парков, – Ричмондский мост 1777 года охраняется как памятник истории и архитектуры. Специальный парламентский акт защищает живописный вид на Темзу из Ричмонда.

Star & Garter – старинная гостиница в Ричмонде с видом на Темзу, открылась еще 1738 году. С годами гостиница прирастала пристройками, меняла собственников, сгорала в пожарах и вновь восстанавливалась благодаря усилиям известных архитекторов – уж очень красив из нее вид на долину Темзы. В период с 1830-х по 1890-е годы постояльцами отеля были самые разные люди – от писателей, таких как Чарльз Диккенс, до коронованных особ Европы в изгнании, таких как король Луи-Филипп и его супруга. Репутация отеля стала известна и за рубежом: гости прибывали из США и Европы, путешествовали верхом или в экипаже из Лондона, чтобы осмотреть окрестности и остановиться здесь, – это было модное светское путешествие. В конце XIX века отель стал популярным местом для организации благотворитель-

ных мероприятий с участием королевских особ и во время Первой мировой войны был подарен королеве Марии для реализации ее планов по созданию дома для солдат-инвалидов – поучительная и грустная судьба.

Вирджиния и Леонард Вулфы продолжали жить в Ричмонде, на юго-западной окраине Лондона — Хогарт-хаус стал не только домом, но и местом работы. Леонард периодически ездил по делам в Лондон, а Вирджиния, если хорошо себя чувствовала, сопровождала его. Леонард вел активную общественно-политическую жизнь — читал лекции, выступал на собраниях и митингах, заседал в судах как присяжный заседатель; Вирджиния же все активнее погружалась в творчество. В Лондоне она не только ходила по магазинам или навещала любимую сестру Ванессу, но и сидела в библиотеках, заглядывала в издательства. Однажды, в марте 1917 года, проходя вместе с Леонардом по Фаррингдон-стрит, она неожиданно увидела печатный станок и была им заворожена, как ребенок.

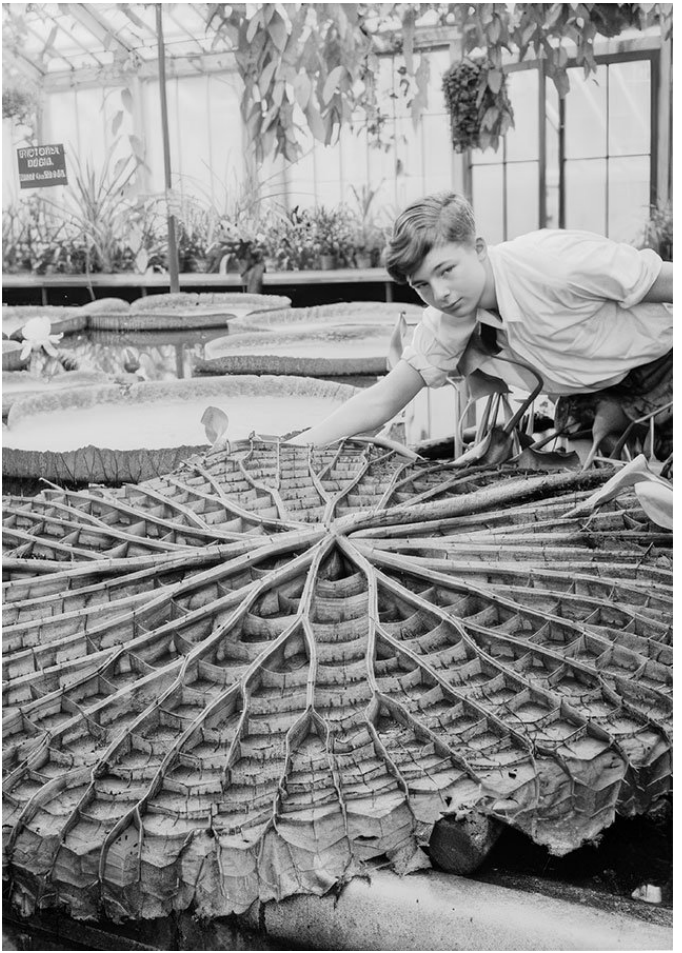
Очередной роман Вирджинии «День и ночь» был опубликован в 1919 году и внезапно стал

объектом критики политизированных друзей и коллег из-за отсутствия в нем высказываний о войне. Вирджиния Вулф была очень непосредственным, но и очень чувствительным и тонким человеком, и от нее, видимо, все ждали каких-то лозунгов. Однако это совершенная неправда, что Вирджиния не думала про войну, — она думала, даже скорее ощущала ее всем своим существом. И эти ощущения ее опосредованного присутствия, тревожность и острое беспокойство, ощущение нарушенной ткани бытия проявились, как это ни странно (но удивительно точно!) в небольшом эссе о лондонской достопримечательности — садах Кью. Насыщенный теплом и солнцем покой разноцветной клумбы, трогательное путешествие улитки прерываются беспокойными мыслями и болезненными разговорами скрывающих свои раны людей.

Эссе «Сады Кью». 1918–1919 годы

Из овальной клумбы поднималось не меньше сотни стеблей, переходящих в сердцевидные или языкообразные листья на полпути к верхушке, а на кончике образующих бутоны из красных, синих и желтых лепестков, испещренных цветными пятнышками; а из темной сердцевины красных, синих или желтых бутонов поднимался прямой пестик, шероховатый от золотой пыльцы и слегка загибающийся на конце. Лепестки были достаточно крупными, чтобы чувствовать дуновение летнего ветерка, а когда они шевелились, красные, синие и желтые краски смешивались друг с другом, отбрасывая на бурую землю внизу причудливые разноцветные блики. Свет падал то на гладкую серую поверхность гальки, то на раковину улитки с ее коричневыми круговыми прожилками, а порой, ударяя в дождевую каплю, так ярко вспыхивал красным, синим и желтым в пределах ее тонких стенок, что они, казалось, вот-вот лопнут, а капля исчезнет. Вместо этого она вновь становилась серебристо-серой, а свет уже падал на мякоть листа, обнажая ветвистую сеть жилок под поверхностью и, двигаясь дальше,

разливался по зеленым просторам под куполами сердцевидных или языкообразных листьев. Затем ветерок подул сильнее и взметнул в воздух яркие краски, бликующие в глазах мужчин и женщин, гуляющих в июле по садам Кью.


VICTORIA
REGIA

Фигуры этих мужчин и женщин сновали мимо клумбы каким-то причудливым хаотичным образом, почти как бело-голубые бабочки, которые зигзагами перелетали с клумбы на клумбу. Мужчина шел примерно в шести дюймах впереди женщины, небрежной походкой, в то время как она двигалась более целеустремленно и только иногда оборачивалась, чтобы посмотреть, не слишком ли отстали дети. Мужчина держался впереди намеренно, хотя, быть может, и неосознанно, ибо хотел предаться своим размышлениям.

«Пятнадцать лет назад я пришел сюда с Лили, — думал он. — Мы сидели где-то там, у озера, и я в тот жаркий полдень умолял ее выйти за меня замуж. Помню, над нами кружила стрекоза; как ясно я помню и стрекозу, и туфлю с квадратной серебряной пряжкой у мыска. Делая предложение, я все время смотрел на туфлю, и, когда Лили от нетерпения шевелила ею, я знал, не поднимая взгляда, что она мне ответит; казалось, вся она была в этой туфле. А моя любовь, мое желание — в стрекозе; почему-то мне казалось, что, если она сядет вон там, на тот лист, Лили тут же ответит “да”. Но стрекоза все кружила и кружила; она так

нигде и не села — конечно, нет; к счастью, нет, иначе я бы не гулял здесь с Элинор и детьми…»

— Скажи мне, Элинор. Ты когда-нибудь думаешь о прошлом?

— А почему ты спрашиваешь, Саймон?

— Потому что я как раз думал о прошлом. Думал о Лили, о той женщине, на которой мог бы жениться… Что же ты молчишь? Ты не против, что я думаю о прошлом?

— Почему я должна быть против, Саймон? Разве не все думают о прошлом в саду, где мужчины и женщины отдыхают в тени деревьев? Не это ли наше прошлое, все, что от него осталось, эти мужчины и женщины, эти призраки под деревьями… наше счастье, наша действительность?

— Для меня — квадратная серебряная пряжка туфли и стрекоза…

— А для меня — поцелуй. Представь, как двадцать лет назад шесть маленьких девочек сидели перед мольбертами на берегу озера и рисовали кувшинки, я тогда первые увидела красные кувшинки. И вдруг поцелуй, вот так, в шею. И весь оставшийся день рука моя тряслась так, что я не могла рисовать. Я доставала часы и отмечала время, когда позволю себе думать о поцелуе, причем всего пять минут, — как он был дорог мне,

этот поцелуй седовласой старушки с бородавкой на носу, матери всех моих поцелуев за всю мою жизнь. Кэролайн, Хьюберт, идемте.

Они миновали клумбу и пошли дальше уже вчетвером, и вскоре стали совсем маленькими и полупрозрачными на фоне деревьев, среди всполохов света и теней, которые проплывали по их спинам большими трепещущими пятнами.

На овальной цветочной клумбе улитка, чью раковину минуты на две окрасило в красный, синий и желтый тона, теперь слегка пошевелилась в своем панцире и медленно поползла по комкам рыхлой земли, которые то и дело откалывались и катились вниз под тяжестью улитки. Похоже, перед ней была определенная цель, что отличало ее от необычного, крупного и угловатого зеленого насекомого, которое попыталось было проползти мимо улитки, застыло на мгновение, пошевелило усиками, словно в раздумье, как вдруг так же резко и странно метнулось в противоположном направлении. Бурые скалы над глубокими впадинами зеленых озер; плоские, словно клинки, деревья, извивающиеся от корней до верхушек; круглые валуны из серого камня, обширные поверхности тонкой мятой хрустящей ткани — все это лежало на пути улитки от одного стебля к

другому, на пути к цели. Не успела она решить, обойти ей свернувшийся куполом сухой лист или же двинуться напролом, как возле клумбы раздались шаги других людей.

На сей раз это были двое мужчин. На лице младшего из них застыло выражение, пожалуй, даже чрезмерного спокойствия; он поднимал взгляд и пристально смотрел перед собой, пока говорил его собеседник, а когда тот замолкал, опускал глаза и после долгой паузы что-то отвечал, а порой и вовсе молчал. У мужчины постарше была странная, неровная и шаткая походка: он резко выбрасывал вперед руку и вскидывал голову, совсем как нетерпеливая лошадь извозчика, уставшая ждать у дома, вот только у мужчины эти жесты были нерешительными и бессмысленными. Говорил он почти без умолку, улыбался сам себе и продолжал болтать дальше, словно улыбка и была ответом. Он говорил о духах — душах умерших, которые, по его словам, даже сейчас рассказывали ему всякие странные вещи о своем пребывании в Раю.

— Древние, Уильям, называли Раем Фессалию, а теперь, из-за этой войны, материя духа носится меж холмов, словно раскаты грома. — Он сделал паузу, будто прислушиваясь, улыбнулся, дернул

головой и продолжил: — Берешь маленькую электрическую батарейку и кусок резины для изоляции провода — изоляции? — инкапсуляции? — ладно, это все мелочи, не будем вдаваться в подробности, которые все равно не поймут, — короче говоря, устанавливаешь приборчик в любом удобном месте у изголовья кровати, скажем, на изящной тумбочке из красного дерева. Когда рабочие все сделают, исправят недочеты по моим указаниям, вдова прикладывает ухо и вызывает духа знаком, как условлено. Женщины! Вдовы! Женщины в черном…

Тут он, по-видимому, заметил вдалеке женское платье, которое в тени показалось ему лилово-черным. Он снял шляпу, положил руку на сердце и поспешил к ней, что-то бормоча и лихорадочно жестикулируя. Однако Уильям ухватил его за руку и кончиком своей трости коснулся цветка, чтобы отвлечь внимание старика. Тот с минуту глазел на бутон в каком-то смятении, затем поднес ухо и, казалось, стал отвечать на доносившийся из него голос, начав рассказывать о лесах Уругвая, где он путешествовал сотни лет назад в компании красивейшей женщины Европы. Долго еще слышалось его бормотание о лесах Уругвая, усыпанных гладкими, словно воск, лепестками

тропических роз, о соловьях и морских пляжах, о русалках и утопленницах, а Уильям уводил его все дальше, и все заметнее на его лице становилось выражение стоического терпения.

Почти вслед за ними — достаточно близко, чтобы жестикуляция старика вызвала легкое недоумение, — шли две пожилые женщины из низов среднего класса: одна — полная и медлительная, вторая — румяная и бойкая. Как и большинство людей их происхождения, этих женщин явно завораживали всяческие проявления эксцентричности, свидетельствующие о помутнении рассудка, особенно у зажиточных людей, но они все же были слишком далеко, чтобы с уверенностью сказать, просто эксцентричны или действительно безумны жесты старика. Некоторое время они молча разглядывали старика со спины и лукаво переглядывались, а затем рьяно продолжили выстраивать свой сложнейший диалог:

— Нелл, Берт, Лот, Сесс, Фил, папа, он говорит, я говорю, а она говорит, а я, а я, а я…

— Мой Берт, сестренка. Билл, дедушка, старик, сахар. Сахар, мука, селедка, зелень, Сахар, сахар, сахар.

[В горячем неподвижном воздухе они складыва-

ли вокруг себя мозаику из этих людей и товаров, и каждая решительно вносила в узор свой вклад, не отрывая от него взгляда, не обращая никакого внимания на те разноцветные фрагменты, которые так настойчиво впихивала на свои места подруга. И все же в этом соревновании — не то из-за количества родственников, не то из-за большей беглости речи — победила худенькая, а грузная поневоле смолкла. И та продолжила:

— Нелл, Берт, Лот, Сесс, Фил, папа, он говорит, я говорю, а она говорит, а я, а я, а я…]

Полная женщина с недоумением смотрела сквозь пестрый узор из летящих слов на цветы, спокойно, прямо и твердо растущих из земли. Она видела их так же, как человек, только что очнувшийся от глубокого сна, видит медный подсвечник, источающий непривычный свет; он закрывает и открывает глаза, снова видит подсвечник и, наконец, полностью просыпается и смотрит на него не моргая. Так и полная женщина остановилась напротив овальной клумбы и перестала даже притворяться, будто слушает спутницу. Слова летели мимо, а она стояла там, медленно покачивая головой из стороны в сторону, и смотрела на цветы. Потом она предложила найти удобное место и выпить чаю.

Улитка уже обдумала всевозможные пути достижения цели, не обходя сухой лист и не перелезая через него. Не говоря уже об усилиях, необходимых для того, чтобы взобраться на него, улитка сомневалась, выдержит ли ее вес тонкая структура, которая угрожающе вибрировала и потрескивала при малейшем прикосновении рогов. Она как раз просунула голову внутрь и осматривала высокую бурую крышу, понемногу привыкая к прохладному коричневому полумраку, когда мимо по траве прошли еще двое людей. На сей раз оба молодые — молодой человек и девушка. Оба в расцвете юности или даже в том возрасте, который предшествует расцвету, когда гладкие розовые лепестки бутона еще не вырвались из упругой оболочки, когда крылья бабочки, хотя и полностью сформировались, еще неподвижно греются на солнце.

— Повезло, что сегодня не пятница, — заметил он.

— Почему? Разве ж это везение?

— По пятницам за вход берут шесть пенсов.

— Ну и что? Разве это не стоит шести пенсов?

— Что «это» — что ты имеешь в виду?

— Ну, все — в общем, ты понимаешь.

Все эти реплики сопровождались долгими

паузами; все они произносились монотонно, без выражения. Оба говоривших замерли у края клумбы и вместе давили на ее зонтик, глубоко вошедший в мягкую землю. Это действие и то, что его рука лежала поверх ее, странным образом выражали их чувства, равно как и короткие незначительные реплики — слова со слишком короткими крылышками, чтобы удержать или далеко унести тяжелый груз их значений, поэтому они неловко приземлялись на самые обычные предметы вокруг и неопытному глазу казались слишком массивными, но кто знает (так они думали, вдавливая зонтик в землю), какие глубины сокрыты в них и какие сверкающие ледники находятся по ту сторону?! Кто знает? Видел ли кто-нибудь нечто подобное? Даже когда она поинтересовалась, какой чай подают в Кью, он почувствовал, что за ее словами скрывается, вырисовывается нечто огромное и незыблемое, и вот туман рассеялся, обнажив — о боги, что же там? — маленькие белые столики и официанток, которые посмотрят сначала на нее, потом на него и подадут счет, который он оплатит настоящей монетой в два шиллинга, и все это по-настоящему, все взаправду, уверял он себя, нащупывая монету в кармане, по-настоящему для всех, кроме

них двоих; даже ему это стало казаться настоящим, а потом — нет, слишком волнительно вот так стоять и просто думать, и он рывком выдернул зонтик из земли, ему не терпелось поскорее найти место, где можно выпить чаю с другими людьми, со всеми, как все.

— Пойдем, Трисси, пора пить чай.

— Где же здесь выпить чаю? — спросила она дрожащим от волнения голосом, рассеянно оглядываясь по сторонам и позволяя увлечь себя вперед по зеленой дорожке, волоча за собой зонтик, поворачивая голову то в одну сторону, то в другую, забыв про чай, порываясь пойти то туда, то сюда, вспоминая про орхидеи и журавлей среди полевых цветов, про китайскую пагоду и птицу с малиновым хохолком, но он увлекал ее за собой.

Так, двигаясь беспорядочно и бесцельно, одна пара за другой проходили мимо клумбы и постепенно окутывались зелено-голубой дымкой, в которой сначала их тела обладали материальностью и цветом, а затем теряли их и полностью растворялись в зелено-голубом мареве. Как же было жарко! Так жарко, что даже дрозд, словно заводная птица, прыгал в тени цветов, надолго замирая между прыжками; вместо того что-

бы свободно порхать в воздухе, белые бабочки кружились одна над другой, создавая своими белыми трепещущими крыльями очертания раздробленной мраморной колонны над самыми высокими цветами; стеклянные крыши теплиц сверкали так, словно на залитой солнцем площади раскинулся целый рынок блестящих зеленых зонтиков, а гул аэроплана был словно рокот неистовой души самого летнего неба. Желтые и черные, розовые и белоснежные, силуэты мужчин, женщин и детей на мгновение вспыхивали на горизонте, а затем, увидев широкую желтую полосу света, лежащую на траве, вздрагивали и прятались в тень под деревьями, растворяясь, словно капли воды, в желто-зеленом мареве, добавляя в него немного красного и синего. Казалось, все крупные и тяжелые тела придавлены жаром к земле и прижаты друг к другу, но голоса их дрожали, словно язычки пламени на толстых восковых свечах. Голоса. Да, голоса. Бессловесные голоса, которые внезапно разрывают тишину с таким глубоким удовольствием, с такой жгучей страстью или, если это голоса детей, с таким искренним удивлением; разрывают тишину? Но никакой ведь тишины не было; все это время моторные омнибусы вращали колесами и пере-

ключали скорости; словно скрежет механизмов огромных китайских шкатулок из кованной стали, помещенных одна в другую, был слышен рокот города, а над ним разносился гул голосов, и бесчисленные лепестки цветов вспыхивали в воздухе своими огнями.

* * *

Сады Кью имеют длинную и запутанную историю – в них не только гуляли и гуляют все английские знаменитости, но и произрастают знаменитые и, наоборот, малоизвестные растения. Как известно, садоводство в Британии – одно из самых любимых традиционных занятий, поэтому такой удивительный сад закономерно возник именно в Лондоне, где страстные садоводы встречали со всех концов Империи корабли с удивительными растениями. История обустройства ландшафта в Кью довольно путаная, но ее необходимо знать, чтобы понять, почему сегодня он именно таков. Еще в XVI веке английский ботаник Уильям Тернер высадил на берегу Темзы аптекарский огород – там же в начале XVII века ко-

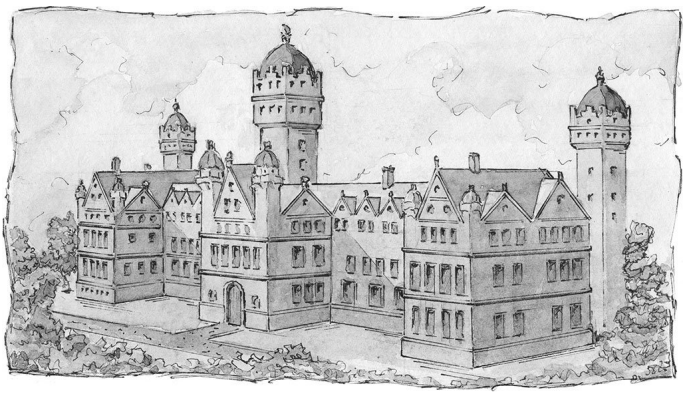
роль Яков I построил охотничий домик. Сложные взаимоотношения между католиками и протестантами во времена правления Якова привели к тому, что домик с садом переходил из рук в руки, от племянников Стюартов к их зятьям, пока Георг III не снес сам домик, объединил окрестные владения (поэтому, кстати, «сады», а не «сад»), а его мать, принцесса Августа Саксен-Готская, и ее советник Джон Стюарт, знаменитый первый премьер-министр Великобритании шотландского происхождения, разбили на этом месте ботанический сад и питомник для деревьев и кустарников. Архитектор сэр Уильям Чемберс возвел в садах Большую пагоду в китайском стиле, она стала толчком к моде на все китайское – шинуазри (и идеальным секретным местом для испытаний аэродинамики бомб во время Второй мировой войны). Сохранившиеся к этому моменту постройки были частично снесены, а королевская резиденция, по приказу Георга III, переместилась в примыкавший к парку кирпичный «Голландский

дом», который был переименован в «Дворец Кью», – он сохранился до наших дней. В Викторианскую эпоху сады пришли в запустение, и было решено передать их государству: в 1840 году сады стали национальным ботаническим садом. В 1859-м была построена Оранжерея для растений умеренной зоны – она сохранилась до сих пор и известна как самая старая оранжерея в мире.

Удивительные факты о чудесных садах: под Пальмовым домом, оранжереей с экзотическими растениями, сохранились остатки железнодорожных туннелей, по которым подвозили вручную на вагонетках уголь; еще в 1792 году в сады Кью прибыли первые кенгуру; а суфражистки Олив Харри и Лилиан Лентон сожгли Чайный павильон дотла в 1913 году в знак протеста. Вдобавок сады Кью сыграли важную роль в жизни не только Вирджинии Вулф – например, в знаменитом мятеже на корабле «Баунти» в 1789 году принимали участие два садовника из Кью! Сегодня Королевские ботанические сады Кью – всемирно признанный бота-

нический исследовательский и учебный центр, в нем находится одна из самых больших в мире коллекций живых растений, хранится коллекция уникальных книг о растениеводстве и гербарий из 7 миллионов образцов (в том числе и часть коллекции Николая Вавилова), издается престижнейший в научном мире ботанический журнал.

IV. Хогарт-хаус



Имперский колледж. Лондон

Леонард Вулф подписал договор аренды Хогарт-хауса еще 25 февраля 1915 года. Он стал для Вулфов первым настоящим семейным домом и одновременно дал название семейному бизнесу — издательству **Hogarth Press**, отметившему свое столетие в составе одной из крупнейших международных издательских компаний, *Penguin Random House*.

Старт этой новой стороне жизни семьи Вулфов

был дан весной 1917 года, когда они наконец-то купили обычный переносной печатный станок. На сайте компании *Penguin Random House* в заметке об истории издательства написано: «…издательская лихорадка пришла в Хогарт-хаус, на Парадайз-роуд, Ричмонд, в апреле 1917 года, и вскоре Вирджиния писала в письме Ванессе: “Мы так увлеклись, что не можем остановиться…”» Новый аппарат был установлен прямо в столовой, а супруги Вулф страстно погрузились в новое занятие: они непрерывно пробовали что-то напечатать и ходили все перепачканные чернилами.

На печатном станке семейный коллектив, постепенно превратившийся в полноценное издательство, напечатал прежде всего собственные книги — в том числе и эссе «Сады Кью» Вирджинии. Самой первой публикацией стал сборник «Две истории» в июле 1917 года — в него вошли рассказы «Пятно на стене» Вирджинии Вулф и «Три еврея» Леонарда Вулфа. Книгу молодые издатели переплели и сшили вручную, а проиллюстрировали гравюрами художницы Доры Каррингтон, художницы и подруги. Для эссе «Сады Кью» иллюстрации сделала сестра Ванесса, в то время уже жена Клайва Белла.

Благодаря *Hogarth Press* англоязычный мир

узнал, кто такой Зигмунд Фрейд, и прочел одну из самых важных поэм XX века — «Бесплодную землю» Т. С. Элиота. Но самое важное в существовании издательства то, что собственное издательство дало Вирджинии свободу писать то, что хочется и как хочется, что помогло сформировать ее оригинальный стиль, удивительную, глубокую и остроумную манеру письма — писала Вирджиния о том, что хорошо знала, понимала, а главное — чувствовала. Лондон она прежде всего чувствовала — его атмосферу, его парадоксы, его душу.

Лондон для Вирджинии был чем-то большим, чем дом, и большим, чем город, — скорее неким огромным существом, которое активно с ней взаимодействовало, вело себя очень по-разному, в зависимости от погоды и настроения. И она в ответ тоже испытывала к нему весьма противоречивые, порой даже забавные чувства: его улицы, переулки, парки, а главное, уличные персонажи были источниками ее жизненной силы. Вирджиния вела дневник с завидной аккуратностью и упорством и записывала туда даже мелкие впечатления от путешествий по городу. Из этих мелочей рождались яркие и заметные персонажи и эпизоды в ее романах — таково

потрясающее свойство таланта: превращать обыденное в чудесное.

Национальная галерея Лондона – один из известнейших художественных музеев Европы. Она была основана в 1824 году, после того как правительство приобрело 38 картин из коллекции Джона Джулиуса Ангерштейна (британского бизнесмена и коллекционера произведений искусства – родился Ангерштейн в 1725 году в Санкт-Петербурге). Картины легли в основу национальной коллекции произведений искусства. Сначала коллекция размещалась в доме Ангерштейна на Пэлл-Мэлл, а в 1838 году переехала в здание на Трафальгарской площади, специально построенное для нее по проекту Уильяма Уилкинса. За два столетия коллекция значительно выросла, во многом благодаря пожертвованиям и работе ее руководителей. Галерея – первая из зарубежных музеев – начала приобретать картины голландских художников, так в ней оказалась работа Яна ван Эйка «Портрет четы Арнольфини», источник

множества загадок и гипотез и по поводу личности изображенного мужчины, и по поводу использованных методов работы живописца. В настоящее время в галерее представлено более 2600 работ, охватывающих историю западноевропейской живописи.



Ванесса Белл, сестра Вирджинии Вулф

Ватерлоо – такое название носят сразу несколько важных мест в Лондоне: крупнейший железнодорожный вокзал страны, район, где находится этот вокзал, а также мост через Темзу и линия метро. Все они названы в честь победы над Наполеоном Бонапартом при Ватерлоо.

Вокзал Ватерлоо открылся еще в 1848 году, и, согласно планам, предполагалось сделать его промежуточной станцией на пути в Сити. Эта его «промежуточность» привела к тому, что платформы и пути пристраивались как бог на душу положит, из соображений временности, и в определенный момент поиск нужной платформы превратился для пассажиров и сотрудников в настоящий квест. Например, с 1854 по 1902 год лондонская компания «Некрополь и национальный мавзолей» имела в Ватерлоо специальную частную станцию, которая обслуживала Бруквудское кладбище. В 1922 году вокзал был перестроен и украшен Аркой Победы в честь Первой мировой войны.

В 1967 году именно на вокзал Ватерлоо прибыл последний паровоз, уступив место электрической тяге. Сегодня вокзал – по-прежнему крупнейшая станция Великобритании по площади и количеству платформ.

Кингсуэй – самая крупная магистраль в Лондоне, построенная еще в 1900 году, чтобы расчистить район маленьких запутанных улочек и домишек в районе Холборн, в самом центре Лондона – между Вестминстером и Сити. Впервые район, название которого происходит, скорее всего, от староанглийских слов, обозначающих «ручей» и «лощину», упоминается в хартии от 959 года, в которой король Эдгар Миролюбивый пожаловал Вестминстерскому аббатству участок земли. В средние века в этом районе жили преимущественно адвокаты и ювелиры, сюда же Диккенс селил героев своих романов. В этом районе когда-то жили и представители английской ветви тамплиеров – они построили здесь свой храм, похожий на главный неф церкви Гроба Господня в Иерусалиме, чтобы он

напоминал им об их миссии – защите христианских паломников на пути в Иерусалим. В 1307 году, после уничтожения ордена, король Эдуард II забрал церковь в казну, затем передал ее госпитальерам. Те отдали здание в аренду двум гильдиям юристов, которые существуют и поддерживают храм до сих пор. Улица Кингсуэй примечательна еще и тем, что под ней проходит подземная трамвайная линия, когда-то соединявшая северный и южный Лондон, – туннель был открыт в 1906 году и периодически укреплялся и расширялся для пропуска разных моделей трамваев. Во время Второй мировой войны сеть туннелей служила бомбоубежищем и штабом спецслужб; трамвайное движение в туннелях было остановлено только в 1952 году. Часть туннелей после реконструкции стала доступна для автомобилей, часть – переоборудована для размещения сети баров и ресторанов Buddha Bar, существует и план создания в туннелях музея.



Поезд на вокзале Ватерлоо

Мост Хангефорд – одна из важнейших достопримечательностей Лондона. Он был спроектирован еще в 1845 году и открыт как подвесной пешеходный мост, соединявший вокзал Ватерлоо и рынок Хангефорд (а потом и станцию «Чаринг-Кросс»). В 1859 году мост купила железнодорожная компания и построила конструкцию из девяти пролетов, выполненных из решетчатых балок из кованого железа, но оригинальные кирпичные

опоры пешеходного моста сохранились до сих пор! В 1990-х годах конструкция обветшала и стала опасной, поэтому были проведены восстановительные работы и возведение двух пешеходных мостиков по обе стороны от него, Открытие пристроенных мостов было приурочено к полувековому юбилею нахождения на троне Елизаветы II, поэтому их назвали мостами Золотого Юбилея. Они были удостоены нескольких специальных наград за выдающуюся архитектуру и остроумное инженерное решение – сегодня это самые загруженные мосты в Лондоне, с них виден весь Лондон в изгибе Темзы и Вестминстерское аббатство.

Запись в Дневнике. 8 июня, вторник. 1920 год

Абсолютно нормально думать об июне в декабре, а сегодня, пожалуй, даже слишком свежо, как будто за углом брайтонский пляж. Вчера был запоминающийся день; Национальная галерея; встретила там Клайва; мороженое в *Gunter's*; очень зрелищно; старая дама в черно-белом наряде с наперсницей, соблюдающие этикет и обычаи, были доброжелательны и забавны. Молодой человек с идеально прямой спиной в сером пиджаке; стройные женщины или девушки с бледными ногами, спотыкающиеся в темных комнатах-пещерах; мороженое посасывают или потягивают в странной тишине; две молодые леди с матерью ели совершенно молча — ни искры жизни; приличная одежда; возможно, они живут за городом. Но разве матери и дочери могут молчать? Оживил ли бы их молодой человек? Я не знаю, что происходило в этих безмолвных умах. <…> Моя поездка в Ватерлоо на втором этаже автобуса оказалась очень яркой. Ясная ночь, свежий ветерок. Слепая старая нищенка сидела

у каменной стены на Кингсуэй, держа в руках коричневую дворнягу, и громко пела. Было в ней какое-то безрассудство, вполне в духе Лондона. Дерзкая, чуть ли не веселая женщина, прижимающая к себе собаку, будто чтобы согреться. Сколько июней она просидела в самом центре Лондона? Как она там оказалась и что пережила? Я даже не могу себе представить. «Черт возьми! — говорю я. — Ну почему я не могу все это узнать?» Возможно, именно пение ночью показалось мне странным; она пела пронзительно, но для собственного развлечения, а не ради денег. Потом мимо проехали пожарные машины — тоже пронзительно; их каски бледно-желтые в лунном свете. Иногда все вещи вызывают одно и то же настроение, но, как его описать, я не знаю. Оно было веселым и в то же время ужасным, пугающе ярким. В последнее время Лондон часто угнетает меня — я даже думаю о мертвых, которые ходили по этому городу. Возможно, стоит походить по городским церквям. Вид серо-белых шпилей с моста Хангефорд навевает мне эту мысль, и все же я не могу сказать, какую «эту».

* * *

Gunter's – так назывались чайные комнаты, находившиеся в Лондоне на Нью-Бонд-стрит, 63. Для Вирджинии, как и для любого англичанина, чаепитие в послеобеденное время (примерно тогда, когда в детском саду подают полдник), было совершенно необходимым ритуалом. Поэтому она заходила выпить чаю не в кофейню, как жители Вены или Парижа, а в чайные комнаты, заведения, где подавали чай и закуски, ставшие частью английской культуры. Чайные комнаты существуют и сегодня, в самых разных местах – и в роскошных исторических зданиях, и в обычных заведениях в парках, на улицах, в театрах. К чаю принято подавать свежие булочки (сконы) и разнообразные сэндвичи (у Теккерея герои ели сэндвичи с огурцом), а иногда, если время ближе к вечеру, это будет полноценный ужин с рулетом и салатом.

В Лондоне, что совершенно естественно, жили и герои романов Вирджинии Вулф — миссис

Дэллоуэй, герои «По морю прочь» и «Ночь и день»: сцена с нищенкой из записей в дневнике от июньского вторника 1920 года перетекла непосредственно в роман «Комната Джейкоба». В написанном в 1922 году модернистском произведении главный герой ходит по суетливым улицам Лондона — то напряженным, мокрым и тоскливым, то, наоборот, радостным и торжественным — в зависимости от настроения — и беседует со своим другом в знакомом Вирджинии до мельчайших деталей Гайд-парке.

Отрывок из романа «Комната Джейкоба»

Уже совсем вечером у каменной стены Лондонского Союза и банка Смита сидит на складном табурете слепая старая женщина, прижимает к себе коричневую дворняжку и горланит песни не ради медяков, нет, а просто из глубины своего веселого, буйного сердца — грешного, задубевшего сердца…

Запись в Дневнике. 17 августа, вторник. 1920 год

Вчера я ненавидела Лондон. Вернее, не Лондон, а определенный участок линии между Ричмондом и Мортлейком, где мы остановились на полтора часа; мне нужно было зайти к дантисту, а потом прогуляться по любимым улицам. Я хотела купить какой-нибудь яркий фарфор для каминной полки. Как бы то ни было, я объездила весь город на такси, щедро потратилась, набрала пакетов с покупками, наспех выпила чай, столкнулась с Котелянским, а потом провела 20 минут на вокзале Виктория — впрочем, со мной был Л., и мы смогли поболтать. Но когда поезд выехал на открытую местность, жизнь показалась свежее, приятнее, разумнее. <…>

* * *

Мортлейк – окраина Ричмонда на южном берегу Темзы, рядом с Кью. Район был известен производством солода, пивоварением, сельским хозяйством и гобеленовой фабрикой. Название района

восходит, скорее всего, к старинному слову, означающему лосось. В книге Страшного суда 1066 года указано, что поместье и приход Мортладж принадлежали архиепископу Кентерберийскому. Помимо Мортлейка, в его хозяйстве числились: 25 шкур, 1 церковь, 2 мельницы, 1 рыбный промысел, 33 плуга, 20 акров луга и лес стоимостью в 55 голов свиней. При Карле I часть Мортлейка отошла Ричмондскому парку. В Мортлейке первой половине XIX века жила удивительная женщина-математик, дочь поэта лорда Байрона Ада Лавлейс, первый программист в истории человечества – она создала основные принципы аналитической машины.

Уже в «Комнате Джейкоба» Лондон понемногу превращается в соучастника происходящих в романе сцен, подчеркивая настроение, характер, переживания героев, — он проникает в воображение и мысли героев и становится декорацией, участвующей в описываемой сцене. Вот как бодро и слегка глуповато выглядит Гайд-парк, когда Джейкоб, вернувшись из Греции, где соответственно своему статусу изучал античность,

прогуливается с приятелем, красивый, успешный, амбициозный; и как, посерьезнев, парк прощается с ним навсегда — Джейкоб уходит, чтобы сгинуть на войне.

Лондон как будто сознает ужасающую жалкость бессмысленной суеты перед лицом не менее бессмысленной смерти.

Отрывок из романа «Комната Джейкоба»

<…> Солнце уже раскалило краску на спинках зеленых стульев в Гайд-парке так, что она пошла пузырями; содрало кожу с платанов и превратило землю в порошок и гладкие желтые камешки. По Гайд-парку беспрерывно кружили вращающиеся колеса. <…>

Длинные окна Кенсингтонского дворца ярко розовели, когда Джейкоб уходил из парка; стая диких уток пролетала над озером Серпантин, а деревья выступали на фоне неба, черные, величественные.

* * *

А вот «свидетельство о рождении» в Лондоне самой, пожалуй, известной героини Вирджинии Вулф. Роман о ней Вирджиния задумывала и планировала задолго до появления окончательного варианта и начала с рассказа: миссис Дэллоуэй впервые появилась в рассказе «Миссис Дэллоуэй на Бонд-стрит». Вирджиния неоднократно упоминала об этой задумке в письмах весны и лета

1922 года, а рукопись отправила в 1923 году Т. С. Эллиоту, будущему лауреату Нобелевской премии (он ее получил в 1948 году, Вирджиния об этом так и не узнала), одному из выдающихся модернистов в поэзии и литературной критике. В письме она писала, что текст не кажется ей законченным — идея и план романа формировались у нее очень постепенно. В итоге этот рассказ был опубликован в июньском номере *Dial* в 1923 году — в нем миссис Дэллоуэй прогуливается по Лондону и тоскует по имперскому величию, а город услужливо подбрасывает ей его знаки. В рассказе Лондон становится не только инструментом измерения настроения героя, но и социальным маркером — героиня нарочито перемещается по престижным районам. Кстати, **журнал *Dial*** — когда-то очень престижный нью-йоркский литературный журнал — выходит и сегодня, он был закрыт в 1929 году, но возрожден в 2023 году в электронном виде под именем *The Dial* группой литераторов и журналистов.

Рассказ «Миссис Дэллоуэй на Бонд-стрит»
(1923 год)

Миссис Дэллоуэй сказала, что купит перчатки сама.

Когда она вышла на улицу, звонил Биг-Бен. Одиннадцать, и утро в этот праздный час было свежим, будто бы нарочно приготовленным для детишек на пляже. Но было и нечто торжественное в размеренном бое часов; нечто волнительное в стуке колес и шарканье шагов. Конечно, не все движимы счастьем. Мы не просто так ходим по улицам Вестминстера, и за этим много чего кроется. Биг-Бен — это всего-навсего стальные стержни, изъеденные ржавчиной, если бы не забота Министерства общественных работ. Лишь для миссис Дэллоуэй момент был совершенен, а июнь — свеж. Счастливое детство — не только своим дочерям Джастин Парри казался славным малым (но, увы, слабым судьей); цветы в сумерках, поднимающийся дым; крик грачей, снова и снова падающий откуда-то сверху сквозь октябрьский воздух, — и ничто его не заменит.

Лист мяты напоминает о нем; и чашка с голубой каемкой.

Вот же сорванцы, вздохнула миссис Дэллоуэй и двинулась вперед. Ох, прямо перед лошадьми, вот же чертенок! Она осталась на тротуаре с вытянутой рукой, а Джимми Доуз ухмылялся с противоположной стороны улицы.

Очаровательная женщина, уравновешенная, стремительная, на удивление седовласая для своих розовых щек — такой ее увидел Скоуп Первис, ГБ[6], спешивший в офис. Она замешкалась, ожидая, пока проедет фургон *Durtnall's.* В десятый, в одиннадцатый раз пробил Биг-Бен. Свинцовые круги растворились в воздухе. Горделивая осанка, передаваемая по наследству, закаленная дисциплиной и болью. Как люди страдают, как страдают, думала она, вспоминая миссис Фокскрофт в посольстве вчера вечером, всю в драгоценностях, с разбитым сердцем, потому что этот милый мальчик умер, и теперь старое поместье (фургон *Durtnall's* проехал мимо) достанется кузену.

— Доброе утро! — сказал Хью Уитбред у посудной лавки, чинно приподнимая шляпу, хотя они

---

[6] Примечания: 6

Главный барристер — категория адвокатов в Великобритании и странах Содружества.

с детства знакомы. — Куда направляетесь?

— Люблю гулять по Лондону, — ответила миссис Дэллоуэй. — Намного лучше, чем за городом!

— Мы только что приехали, — сказал Хью Уитбред. — К сожалению, нужно к врачу.

— Как Милли? — спросила миссис Дэллоуэй, мгновенно проникнувшись сочувствием.

— Сама не своя, — сказал Хью Уитбред. — Как-то так. Дик в порядке?

— В полном! — ответила Кларисса.

Конечно, думала она, продолжая идти, Милли примерно моего возраста: пятьдесят, пятьдесят два. В этом-то, наверное, и дело, пытался намекнуть Хью, все понятно — старый добрый Хью, думала миссис Дэллоуэй, вспоминая с умилением, благодарностью, нежностью, каким застенчивым, словно брат — порой легче умереть, чем говорить с братом, — Хью всегда был, когда учился в Оксфорде и приезжал, и вроде бы один из них (черт его знает!) не умел ездить верхом. Как тогда женщины могут заседать в парламенте? Как они могут делать что-то вместе с мужчинами? Ведь есть у человека какой-то необычайно глубокий инстинкт; его не перебороть, даже пытаться бесполезно, а мужчины вроде Хью относятся к этому с уважением и без

лишних слов, за что, думала Кларисса, старый добрый Хью и нравится людям.

Она прошла через Адмиралтейскую арку и увидела в конце пустой дороги с тонкими деревьями белый Мемориал Виктории — напоминание о ее всеобъемлющей материнской любви, широте души и простоте, постоянной нелепости, но при этом величественности, думала миссис Дэллоуэй, вспоминая Кенсингтонские сады и старушку в роговых очках — няню, которая велела ей остановиться и поклониться королеве. Над дворцом развевался флаг. Король и королева вернулись. Дик виделся с ней за обедом на днях — милейшая женщина. Это так важно для бедняков, думала Кларисса, и для солдат. На постаменте героически возвышался бронзовый солдат с ружьем на левом плече — война в Южной Африке. Это важно, думала миссис Дэллоуэй, идя к Букингемскому дворцу. Вот он, четырехугольный, в лучах солнца, олицетворение непреклонности и простоты. Дело в характере, думала она, в чем-то, что свойственно всей расе и что так уважали индийцы. Королева посещала больницы, устраивала благотворительные ярмарки — королева Англии, думала Кларисса, глядя на дворец. В этот момент у ворот появился автомобиль, гвардейцы отдали

честь, и ворота закрылись. А Кларисса, перейдя дорогу, уверенным шагом ступила в парк.

Июнь распустил все листья на деревьях. Матери Вестминстера в пестрых нарядах кормили младенцев грудью. Вполне приличные на вид девушки растянулись на траве. Пожилой мужчина, с трудом наклонившись, поднял скомканную газету, расправил ее и отшвырнул в сторону. Возмутительно! Вчера вечером в посольстве сэр Дайтон сказал: «Если я захочу, чтобы кто-то придержал мою лошадь, мне достаточно щелкнуть пальцами!» Но религиозный вопрос, по его словам, куда важнее экономического, и ей показалось необычайно интересным услышать такое от человека вроде сэра Дайтона. «О, страна никогда не узнает, что она потеряла», — заявил он, решив высказаться о Джеке Стюарте. Она легко поднялась на небольшой холм. Воздух вибрировал от энергии. С Флит-стрит в Адмиралтейство передавали сообщения. Пикадилли, Арлингтон-стрит и Мэлл, казалось, разгорячили сам воздух в парке и взметали листву яростно и эффектно волнами той божественной жизненной силы, которую так любила Кларисса. Верховая езда, танцы — все это она обожала. Или долгие прогулки за городом, разговоры о книгах, о том, как устроиться в

жизни, ведь молодые люди удивительно самоуверенны… Ох, о чем только не болтали! Но ведь есть убеждения. Средний возраст сродни бесу. Люди вроде Джека никогда этого не поймут, думала Кларисса, ибо он вообще не думал о смерти и даже не знал, говорят, что умирает. «Не будет он скорбеть иль плакать бурно — как там было? — что голова безвременно седа… Мирской заразы в вольном нет следа… Раньше нас свою чашу испили до дна… Мирской заразы в вольном нет следа!» Она продолжала идти уверенным шагом. Но как бы Джек кричал! Как цитировал бы Шелли на Пикадилли! «Вы любите побрякушки», — сказал бы он, так как терпеть не мог безвкусицу. «Боже мой, Кларисса! Боже мой, Кларисса!» — говорил он ей о бедной Сильвии Хант в янтарном ожерелье и старомодном шелковом платье на приеме в Девоншир-хаусе. Кларисса шла уверенным шагом, бормоча себе под нос, и вот она уже на Пикадилли, проходит мимо дома со стройными зелеными колоннами и балконами, мимо окон клубов, заклеенных газетами, мимо дома старой леди Бердет-Кутс, где раньше висел керамический попугай, мимо Девоншир-хауса без его позолоченных леопардов, мимо *Claridge's*, где, если не изменяет память, Дик просил ее оставить

визитку миссис Джепсон, иначе бы та ушла. Богатые американки порой так очаровательны. Вот и Сент-Джеймсский дворец, будто собранный из детских кубиков, а теперь, миновав Бонд-стрит, она оказалась у *Hatchard's*. Сплошной бесконечный поток. *Lord's, Ascot, Hurlingham* — а это что? Что за прелесть, подумала она, глядя на разворот какой-то книги мемуаров, выставленной в эркерной витрине, сэр Джошуа или, быть может, Ромни; грациозные, яркие, скромные, как ее собственная Элизабет, — только такие девушки настоящие. А еще эта абсурдная книга «Мыльная губка», которую Джим цитировал в саду, и «Сонеты» Шекспира. Она знала их наизусть. Они с Филом целый день спорили о «смуглой леди», а вечером за ужином Дик открыто заявил, что никогда о ней не слышал. Да, поэтому-то она и вышла за него замуж! Он никогда не читал Шекспира! Должна же быть какая-то дешевая книжка, которую можно купить для Милли — разумеется, «Крэнфорд»! Что может быть очаровательнее коровы в панталонах? Вот бы нынешние люди обладали таким же чувством юмора и самоуважением, думала Кларисса, вспоминая большие страницы, концовки предложений, персонажей — как бы о них говорили, будь они настоящими. В

поисках великого надо обращаться к прошлому, думала Кларисса. «Мирской заразы в вольном нет следа… Злого зноя не страшись… Не будет он скорбеть иль плакать бурно, не будет он скорбеть», — повторяла она, не отрывая взгляда от витрины, ибо все это крутилось у нее в голове. Испытание великой поэзией; современники не написали о смерти ничего такого, что хотелось бы читать, подумала она и развернулась.

Омнибусы обгоняли легковые автомобили, а те — фургоны; фургоны — такси, а такси — легковые автомобили… Вот машина с открытым верхом и одной пассажиркой. Не спала до четырех утра, ноги, небось, гудят, думала Кларисса, потому что девушка выглядела уставшей, полусонной, будто после танцев развалившейся на заднем сиденье. Проехала другая машина, и еще одна. Нет! Нет! Нет! Кларисса добродушно улыбнулась. А вот эта полная дама явно повидала в жизни все! Но бриллианты! Орхидеи! В такой-то час! Нет! Нет! Нет! Первоклассный полисмен аккурат поднял руку. Проехал еще один автомобиль. До чего же отталкивающая внешность! Зачем девушке ее возраста подводить глаза черным? А молодой человек с девушкой, да еще в такой час, когда страна… Первоклассный полисмен поднял руку,

и Кларисса, повинуясь жесту, спокойно перешла дорогу и направилась в сторону Бонд-стрит; она увидела узкую кривую улочку, желтые транспаранты, толстые грубые телеграфные провода, протянутые в воздухе.

Сто лет назад ее прапрадед, Сеймур Парри, сбежавший с дочерью Конуэя, шел по Бонд-стрит. Парри ходили по Бонд-стрит на протяжении века и могли встречать Дэллоуэев (Ли по материнской линии). Ее отец покупал одежду в *Hill's*. В окне висел рулон ткани, а на черном столе стоял сосуд, невероятно дорогой, словно крупная горбуша на льду у рыботорговца. Изысканные ювелирные украшения: розовые и янтарные самоцветы, испанские, как ей показалось; цепи из старого золота; пряжки в виде звезд, маленькие брошки, которые носили на атласе цвета морской волны дамы с пышными прическами. Но ничего симпатичного! Надо экономить. Она прошла мимо витрины, где висела какая-то странная французская картина, словно люди в шутку прилепили на полотно конфетти — розовое и голубое. Когда живешь среди живописи (с книгами и музыкой то же самое), думала Кларисса, проходя мимо Эолиан-холла, тебя не обдурить.

Бонд-стрит была запружена. Словно королева

на рыцарском турнире, леди Бексборо царственно восседала в своем экипаже. Прямая и одинокая, она смотрела в очки. Белая перчатка болталась на запястье. Довольно поношенное черное одеяние, но, думала Кларисса, это говорит исключительно о воспитании, о самоуважении, о том, что она никогда не тратит слов и не дает поводов для сплетен; замечательная подруга; никто не видит в ней изъянов после стольких лет, и вот она, думала Кларисса, проплывает мимо напудренной, совершенно неподвижной графини, а Кларисса бы все отдала, чтобы стать такой же хозяйкой Клэрфилда и говорить о политике наравне с мужчинами. Но она никуда не ходит, думала Кларисса, и ей бесполезно задавать вопросы; экипаж поехал дальше, а леди Бексборо проплыла мимо, словно королева на рыцарском турнире, хотя ей не на что жить, а стареющий муж нездоров, и ходят слухи, что она устала от всего этого, думала Кларисса, и на глазах ее действительно навернулись слезы, когда она вошла в магазин.

— Доброе утро, — сказала Кларисса своим очаровательным голосом. — Перчатки, — попросила она с искренним дружелюбием и, положив сумку на прилавок, начала медленно расстегивать пуговицы. — Белые перчатки выше локтя, — уточнила

Кларисса и посмотрела в глаза продавщице, но это была не та девушка, которую она помнила. Эта была в возрасте. — Нет, такие не подойдут, — сказала Кларисса. Продавщица посмотрела на них.

— Мадам, вы носите браслеты?

Кларисса растопырила пальцы.

— Возможно, все дело в кольцах.

Продавщица взяла серые перчатки и отнесла их в конец прилавка. Да, думала Кларисса, если это та девушка, которую я помню, то она лет на двадцать постарела… Была еще только одна покупательница, сидевшая боком к прилавку, с оттопыренным локтем и опущенной голой рукой, праздная, словно женщина, изображенная на японском веере, думала Кларисса, быть может, слишком уж праздная, и все же некоторые мужчины пришли бы от нее в восторг. Дама печально покачала головой. Перчатки снова оказались слишком велики. Она повернула зеркало. «Выше запястья», — с упреком сказала она седовласой продавщице; та посмотрела и кивнула.

Они ждали; часы тикали; Бонд-стрит снаружи гудела; продавщица ушла, держа в руках перчатки. «Выше запястья», — мрачно повторила дама, повысив голос. А ведь мне еще заказывать стулья, мороженое, цветы и номерки для гарде-

роба, думала Кларисса. Придут те, кого видеть не хочется, а те, кого хочется, — нет. Она будет стоять в дверях. В магазине продавали чулки — шелковые чулки. О леди судят по перчаткам и туфлям, как говорил старый дядюшка Уильям. И сквозь висящие шелковые чулки, мерцающие серебром, она смотрела на даму с покатыми плечами, опущенной рукой, сползающей сумкой и пустым взглядом, устремленным в пол. Было бы невыносимо, если бы на ее вечеринку приходили безвкусные женщины! Понравился бы кому-нибудь Китс, если бы он ходил в красных носках? Ну наконец-то! Она подошла к прилавку, и в голове у нее вспыхнула мысль:

— Помните, до войны у вас были перчатки с перламутровыми пуговицами?

— Французские перчатки, мадам?

— Да, французские, — сказала Кларисса. Вторая дама, опечалившись, поднялась, взяла свою сумку и посмотрела на перчатки на прилавке. Но все они были слишком велики — всегда слишком велики в запястьях.

— С перламутровыми пуговицами, — сказала продавщица, которая выглядела намного старше. Она развернула на прилавке оберточную бумагу. С перламутровыми пуговицами, думала

Кларисса, просто и со вкусом — очень по-французски!

— У мадам такие тонкие руки, — сказала продавщица, уверенно, но аккуратно натягивая перчатку поверх колец. Кларисса посмотрела на свою руку в зеркале. Перчатка едва доходила до локтя. — Нет ли других, на полдюйма длиннее? И все же ей не хотелось лишний раз доставлять неудобство — возможно, это единственный день в месяце, думала Клариса, когда стоять на ногах — сущее мучение. — О, не утруждайтесь, — сказала она. Но перчатки все же принесли.

— Вы с ног не валитесь, — спросила она своим очаровательным голосом, — работать стоя? Когда у вас отпуск?

— В сентябре, мадам, когда работы поменьше.

Как раз, когда мы за городом, думала Кларисса. Или на охоте. Две недели в Брайтоне. В какомнибудь душном домике. Хозяйка скупа на сахар. Проще всего было бы отправить ее прямиком к миссис Ламли в деревню (эта мысль вертелась на языке). Но тут она вспомнила, что во время их медового месяца Дик объяснил ей, как это безрассудно — импульсивно тратить деньги. По его словам, гораздо важнее наладить торговлю с Китаем. Конечно, он был прав. И она почувство-

вала, что продавщица не любит подачек. Она на своем месте. Как и Дик. Продавать перчатки — ее работа. У нее свои заботы, совершенно другие.

«Не будет он скорбеть иль плакать бурно, не будет он скорбеть», — звучали слова в ее голове. «Мирской заразы в вольном нет следа», — думала Кларисса, не двигая рукой, потому что бывают моменты, когда все кажется напрасным (снятая перчатка оставила на руке пудру). Просто люди больше не верят в Бога, думала Кларисса.

Вдруг донесся шум транспорта; шелковые чулки засверкали. Вошла покупательница. — Белые перчатки, — сказала она с каким-то призвуком в голосе, который показался Клариссе знакомым. Раньше, думала Кларисса, все было так просто. Откуда-то издалека по воздуху разносился крик грачей. Кучу лет назад, когда умерла Сильвия, тисовые изгороди с бриллиантовыми паутинками выглядели так прелестно в тумане перед утренней службой. Но если бы Дик завтра умер — раз уж речь зашла о вере в Бога — нет, пускай дети сами решают, — она, как и леди Бексборо, которая, говорят, открыла ярмарку с телеграммой в руках — Роден, ее любимчик, погиб, — продолжит жить. Но зачем, если не веришь? Ради других, думала она, беря в руки перчатку. Продавщица

была бы гораздо несчастней без веры.

— Тридцать шиллингов, — сказала продавщица. — Нет, простите, мадам, тридцать пять. Французские перчатки дороже.

«Ведь человек живет не для себя», — думала Кларисса. И тут другая покупательница взяла перчатку, попыталась натянуть ее, и та разошлась.

— Ну, вот! — воскликнула она.

— Это дефект кожи, — тут же сказала седовласая женщина. — Иногда при дублении попадает капля кислоты. Попробуйте эту пару, мадам.

— Какой грабеж — просить за них два фунта и десять шиллингов!

Кларисса посмотрела на даму; дама посмотрела на Клариссу.

— После войны хороших перчаток не найти, — извинилась продавщица, обращаясь к Клариссе.

Но где она видела эту другую даму? Пожилую, с жабо под подбородком, с очками в золотой оправе на черной ленте; чувственную, умную, как на полотнах Сарджента. Как определить по голосу, что человек привык, думала Кларисса, заставлять других («Как будто бы жмут», — сказала она) подчиняться. Продавщица снова ушла. Кларисса осталась ждать. «Злого зноя не страшись, — по-

вторяла она, водя пальцем по прилавку. — Злого зноя не страшись, злого зноя», — повторяла она. Руки были в коричневых пятнах. И продавщица ползла как улитка. «Ты окончил путь земной». Тысячи молодых людей погибли, чтобы все это продолжалось. Ну наконец-то! На полдюйма выше локтя; перламутровые пуговицы; пять с четвертью. Вот же копуша, думала Кларисса, неужели ты думаешь, что у меня есть время торчать здесь все утро? Теперь еще и сдачу будет нести минут двадцать!

На улице раздался мощный хлопок. Продавщицы попрятались за прилавком. А Кларисса, уверенно держась, улыбнулась даме. «Мисс Анструтер!» — воскликнула она.

* * *

Бонд-стрит, по которой прохаживается миссис Дэллоуэй, — это самый центр города, а в мироздании в голове Клариссы это все еще Центр Империи. Место прогулки героини всячески подчеркивает ее социальное положение, принадлежность к определенным кругам — недаром она думает про важность королевы для народа и солдат, ужасается образу Китса в красных носках. Упоминание Джона Сарджента — ху-

дожника, специализировавшегося на портретах исключительно богатых клиентов, цитирование Шекспира и Перси Биши Шелли, перечисление престижных названий: *Claridge's* (пятизвездочный отель), *Hatchard's* (книжный магазин на Пикадилли), *Lord's* (стадион для игры в крикет), *Ascot* (ипподром, на котором проходят знаменитые скачки), *Hurlingham* (эксклюзивный частный спортивный клуб), «Эолиан-холл» (концертный зал), покупка именно перчаток, — все должно подчеркивать избранность и изысканность, но сквозь модный список проглядывает, как это обычно и бывает, пустота и отсутствие собственного мнения. Недаром Клариссе так мила давно ушедшая Викторианская эра, хотя она застала ее только в детстве, — в прошлом, как ей кажется, жизнь была удобнее и правильнее, не нужно было принимать самостоятельных решений и за что-то отвечать. Использует Вирджиния и собственный опыт — она писала о взрыве возле универсального магазина в дневнике от 22 октября 1917 года; однако, в отличие от Вирджинии, миссис Дэллоуэй реагирует как настоящая леди!

Бонд-стрит примыкает к знаменитым Оксфорд-стрит и Пикадилли и суще-

ствует еще с 1683 года, когда участок под застройку был выкуплен сэром Томасом Бондом, Первым баронетом (ок. 1620–1685) и управляющим при дворе королевы Генриетты-Марии. Его имя известно сегодня очень многим – благодаря его предполагаемому потомку Джеймсу Бонду, агенту 007, унаследовавшему и семейный девиз баронета *Orbis non sufficient* («Мира недостаточно» в переводе с латыни).

Мемориал Виктории – скульптурная композиция, расположенная в центре Королевского сада перед Букингемским дворцом и посвященная королеве Виктории, была установлена и освящена в 1911 году старшим внуком Виктории, Георгом V и его кузеном Вильгельмом II. Скульптор – сэр Томас Брок. Королева Виктория окружена ангелами, символизирующими правосудие, правду и милосердие, и многочисленными морскими существами, указывающими на морскую мощь Соединенного Королевства: русалками, водяными, а также гиппогрифами. Еще один мемориал королеве Виктории

находится в Калькутте – там это внушительный, но изящный белый дворец.

Флит-стрит – улица в Центральном Лондоне, в Сити. Название получила по названию реки Флит, протекавшей в этом месте, но упрятанной под землю. Она перпендикулярна Кингсуэй и переходит в Стрэнд – вместе эти самые известные в мире улицы Лондона называют «осью истории». Флит-стрит когда-то служила границей для владений тамплиеров, и именно на ней селились юристы в районе Холборн – главные судебные учреждения Великобритании расположены именно здесь. С XVI века на Флит-стрит стали появляться офисы основных лондонских газет, и за ней закрепилась репутация цитадели британской прессы. А еще на ней расположен один из старейших в Лондоне – а может, и в мире – пабов, «Старый чеширский сыр», – он предлагает выпивку гражданам аж с 1538 года, а в находящейся недалеко таверне «Старый петух» еще Диккенс проводил литературные вечера.

Девоншир-Хаус на Пикадилли – лон-

донский особняк герцогов Девонширских в XVIII и XIX веках, в те времена многие из известных британских аристократов содержали большие лондонские дома, носившие их имена, однако со временем это стало слишком дорого и бессмысленно и постепенно вышло из моды. Девоншир-хаус – типичный пример особняка в палладианском стиле, призванный демонстрировать богатство и власть. В 1897 он стал местом проведения широко отмечаемого бриллиантового юбилея королевы Виктории, с пышным костюмированным балом. В первую мировую войну особняк был базой Красного креста, но после войны впал в запустение и был снесен в 1924 году. Однако некоторые детали выдающегося особняка сохранились и используются до сих пор: въездные ворота из кованого железа, расположенные между опорами с рустованными карнизами и увенчанные сидящими сфинксами, восстановлены на южной стороне Пикадилли, на входе в Грин-парк. Винный погреб теперь служит билетной кассой станции метро «Грин-парк».



Мемориал Виктории в Лондоне

Леди Берджет-Кутс прославилась на всю Англию благотворительностью – она унаследовала огромное состояние от своего деда и даже эксцентрично отказалась выходить замуж, чтобы не отвлекать силы и деньги от благородного занятия. Но замуж она все-таки вышла – в 67 лет, за американца вдвое моложе себя, который тоже занимался благотворительностью, – вместе они помогали беженцам от русско-турецкой войны, аборигенам Австралии и другим жертвам колониализма.

Названия книг, которые в рассказе миссис Дэллоуэй рассматривает в «эркерной витрине» книжного магазина, Вулф явно взяла из своего детства: наверняка она читала популярнейшие в свое время «Спортивный тур мистера Спонжа» Роберта Смита Сертиса, главным героем которого стала Губка, и роман «Крэнфорд» английской писательницы Элизабет Гаскелл — в нем корова Бэтси Баркер ходит в серых панталонах, лишившись шерсти после падения в яму с негашеной известью. Со временем миссис Дэллоуэй, в окон-

чательной версии романа, обрела совсем иной характер — она стала независимой, глубоко чувствующей, одинокой женщиной, и, к примеру, цитата из Шекспира, из пьесы «Цимбеллин»: «…мирской заразы в вольном нет следа… злого зноя не страшись», — обрела совсем иной смысл. Поэтому рассказ служит очень любопытным окошком в мастерскую писателя, в переживания самой Вирджинии.

Основные исследования атмосферы Лондона, процессов в его организме, Вирджиния Вулф проводила во время долгих прогулок по городу. Любила она рассматривать улицы и пешеходов со второго этажа знаменитого лондонского автобуса — точно так же потом будет наблюдать город и миссис Дэллоуэй. Вирджиния предпочитала прогулки по центру города, по набережным Темзы, путешествовала из богатого Вест-Энда в простецкий рабочий Ист-Энд, бесконечно гуляла по Блумсбери к Лондонскому Тауэру. И конечно, регулярно посещала парки — Гайд-парк, Риджентспарк, сады Кью: в этих парках беседуют, встречаются, откровенничают и герои ее романов. Не чужда была писательница и Оксфорд-стрит с витринами разнообразных магазинов, она любила покупать новые наряды,

ходила в театры, в оперу и очень любила посещать Лондонскую библиотеку и Национальную галерею. Очень часто тут же, на улицах Лондона, или в музее, в библиотеке она встречала друзей и родных, болтала, шутила, ссорилась и мирилась («встретила там Клайва» — тесен был мир модернизма в начале XX века; с высоты сегодняшних дней, 100 лет спустя, это уже трудно себе представить). И очень много времени — и места — занимало книгопечатание; однако оно увлекало Вирджинию, делало ее независимой от издателей и от чужого выбора. Они с Леонардом печатали то, что им нравилось, то, что без них, возможно, не увидело бы свет. Между прочим, именно в *Hogarth Press* в английских переводах вышли «Воспоминания Горького» (1920), «Записные книжки» Чехова (1920), «Господин из Сан-Франциско» Бунина (1922), «Исповедь Ставрогина» (пропущенная глава из «Бесов», 1923), «Письма Толстого к Арсеньевой» (1923).



Вирджиния Вулф, фотограф леди Моррел, 1924 год

Запись в Дневнике. 9 января, среда. 1924 год

В этот самый момент, или пятнадцать минут назад, если быть точной, я взяла в аренду на десять лет дом 52 на Тависток-сквер в Лондоне — мне нравится писать «Тависток». В общем, с учетом аренды, Провидения и непредвиденных капризов со стороны старой миссис Саймон, дом наш: и подвал, и бильярдная, и рокарий на крыше, и вид на площадь из передних окон, и заброшенные здания позади, и Саутгемптон-роу, и весь Лондон — Лондон, ты жемчужина из жемчужин и яшма из яшм — с его музыкой, разговорами, друзьями, видами, книгами, публикациями, чем-то центральным и необъяснимым; все это теперь в пределах моей досягаемости, впервые с августа 1913 года, когда мы покинули Клиффордс-Инн из-за серии катастроф, которые едва не оборвали мою жизнь и, как я самовлюбленно думаю, едва не разрушили жизнь Леонарда. Так что я должна быть благодарна Ричмонду и Хогарт-хаусу, и независимо от того, все дело в моем неиссякаемом энтузиазме или нет, я действительно

благодарна. Не было для меня лучшего места в те годы, когда я ползала по дому, словно крыса, получившая удар по голове; когда по ночам над Лондоном с его темными улицами летали аэропланы; когда ни на одном прилавке не было даже самых дешевых булочек. И нигде больше мы бы не смогли основать издательство *Hogarth Press*, с трудом зародившееся в этой самой комнате, на этом самом зеленом ковре. Здесь наше странное детище росло и процветало; оно вытеснило нас из столовой, которая теперь превратилась в пыльный склад, и расползлось по всему дому.

И здесь побывало множество людей — тысячи, как мне кажется. Много вечеров я сидела у этого камина, вела беседы, и, если не считать одного приступа депрессии прошлым летом, ни разу не пожаловалась на Ричмонд, пока не сбросила его, как старую кожу.

А еще в этой комнате у меня было несколько очень любопытных видений: например, я лежала в постели в приступе безумия и видела, как солнечный свет переливался, словно золотая вода, на стене. Здесь я слышала голоса умерших. И чувствовала себя, несмотря на все это, необыкновенно счастливой.

Сегодня у нас ужинает Саксон, и мы предложим

ему переехать сюда со своей труппой сумасшедших на Пасху. Наш переезд может состояться в любое время после первого февраля. И поскольку нет нужды вдаваться в подробности дел агентов, я просто скажу, что моя обычная удача в поиске недвижимости улыбнулась мне в понедельник, когда я уже прощалась с мистером Коудом, а раскрасневшаяся молодая леди спросила:

— Миссис Вулф, вы все еще ищете дом?

— Собственно, поэтому я и здесь, — ответила я. — Хотя мне уже кажется, что лучше снять квартиру.

— Ну вам может подойти дом 52 на Тавистокскверс. Там есть большая студия.

Затем один нерадивый молодой сотрудник заставил меня приехать на Гордон-сквер, отправив не по тому адресу; потом я столкнулась с Адрианом, и мы вместе зашли в *Dollman & Pritchard* через их большие и обитые зеленым сукном маятниковые двери, поднялись по лестнице в квартиру, где сейчас уже темно и никто не живет, затем спустились вниз, в подвал, где я быстро потеряла счет комнатам и, наткнувшись на бильярдную старого джентльмена, поняла, что если и есть подходящее для нас место, то это точно оно.

Что ж, вчера у нас был долгий холодный напряженный день — я дважды ездила в Лондон, — и закончился он спектаклем «Пламя» по пьесе о надуманных эмоциях, которые никто не испытывал уже лет сто и даже в 1824 году. Однако под воздействием гипноза половина Бейсуотера [район Вестминстера] вчера вечером поверила, будто другие люди чувствуют нечто подобное и, следовательно, они тоже должны.

Могу сказать, что одновременно с домом 52 на Тависток-сквер (как же мне нравится это писать!) я приобрела девятипенсовую перьевую ручку с обычным пером, и пишет она просто отлично. Чему я радуюсь больше: Тависток-скверу или ручке? Рассуждая об этом, я вспомнила, что должна читать седьмой том Монтеня, а ведь еще ужин с Саксоном. Так что, несмотря на затуманенный разум, я поднимусь наверх и начну. <…>

* * *

Тависток-сквер – это возвращение в Блумсбери, к творческим истокам. Это тихая площадь в центральном Лондоне, зеленая, окруженная парками и садами, – недаром именно там стоит памятник Махатме Ганди, в компании с мемори-

алом людям, отказавшимся от военной службы по соображениям совести, и вишневым деревом в память о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. Именно в этом уголке мира в 2005 году, во время страшных терактов, взорвал себя смертник, погубив 13 пассажиров автобуса. Во времена Вирджинии ничего этого еще не было – ей было известно, что на Тавистокскверв Тависток-хаусе с 1851 по 1860 год жил Чарльз Диккенс, что площадь была частью поместья герцогов Бедфордских и была застроена в 1806 году, и наверняка она знала, что в 1920 году на площади была основана Тавистокская клиника, первая психиатрическая клиника, пациентами которой были жертвы контузии во время Первой мировой войны.

В дневнике Вирджиния в подробностях и с юмором описала свои поиски нового дома, взаимоотношения с агентами по недвижимости, прежними арендаторами — мистером и миссис Саймон, юридической фирмой *Dollman & Pritchard*, с потенциальным арендатором Хогарт-хауса Саксоном, перевозившим с места на

места дом престарелых, — она очень радовалась и предвкушала новую работу! Переезд Вулфов из Хогарт-хауса на Тависток-сквер, 52 в родной уже Блумсбери состоялся 13–14 марта 1924 года: они переночевали у Клайва Белла на Гордон-сквер и в субботу 15 марта спали уже в новом доме. Они заняли целых два верхних этажа большого четырехэтажного дома; на нижних этажах жили мистер Доллман и Причард, солиситоры. Обширный подвал был отдан под издательство: *Hogarth Press* получило, наконец, собственное помещение, — а большая бильярдная, выстроенная на месте сада позади дома, стала одновременно кабинетом Вирджинии и складом печатной продукции. У Вирджинии появилась «своя комната» — и она была счастлива. Она полностью обрела свое место, свой дом, свое дело в любимом ею городе. А Лондон сразу же начал отвечать взаимностью — такое было у него главное свойство в отношениях с Вирджинией Вулф.

Запись в Дневнике. 5 апреля, суббота. 1924 год

<…> Но могу ли я поделиться первыми впечатлениями? О том, как Марчмонт-стрит напоминала Париж; как в первую ночь я увидела из окон подвала луну среди плывущих облаков, и то была жуткая, новая для меня лондонская луна, пугающе необычная, как будто в Ричмонде ее скрывала вуаль. Как же здесь удобно! Как прекрасно! Из театров мы возвращаемся домой пешком через недра Лондона. Почему я так люблю Лондон? Из-за его каменного сердца и черствости. Торговцы тебя не узнают… <…> На формирование привычки уходит много времени — привычка жить на Тависток-сквер, 52, еще не до конца сформирована, но уже дает о себе знать. Всю неделю я не обращаю внимания на шум. Просто перестала слышать или замечать. Доминирующие интересы, я полагаю, самоутверждаются, наводят порядок и довлеют над мелочами. Я меньше придираюсь к мелочам, чем 10 дней назад, и скоро привыкну к этой комнате. <…> Я ничуть не скучаю по Ричмонду. Этель Сэндс и другие

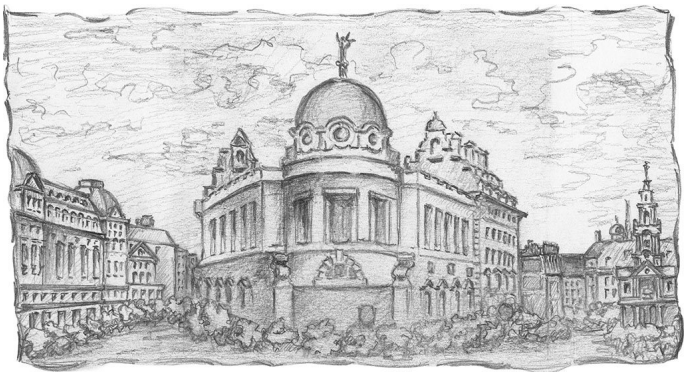
считают, будто я должна оплакивать ту свою прекрасную комнату. Но теперь я вижу нечто еще более прекрасное — отели *Russell* и *Imperial* в лучах вечернего солнца, розовый и желтый, как набережная Брайтона. <…> Дома на Гросвенор-сквер в точности похожи на бары викторианских гостиниц или знаменитых пансионов: красивые непропорциональные комнаты; позолоченные стулья, резные столы; бледно-лиловые урны и вазы на полинялых шелковых обоях. На каждой стене свой сюжет: контрабандисты, кареты и т. д.; за огромной каминной решеткой горит небольшое пламя, дополнительно отгороженное стеклянным экраном; рядом сидят Нелли и лорд Боб, холодные и деловые; драгун приносит маленькие пирожные.

* * *

Марчмонт-стрит расположена в лондонском районе Камден, она соединяет южную часть Кингс-Кросс и восточную часть Блумсбери и ведет от станции метро «Рассел-сквер» прямо на Тависток-сквер. Улица была застроена одновременно с Тависток-сквер, в соответствии с требованиями эпохи индустриализации,

поэтому все первые этажи оказались заняты магазинами и гостиницами – такой она сохранилась и по сей день. Станция метро «Рассел-сквер» была открыта к столетию района, в 1906 году, и стала частью новой ветки глубокого заложения, обеспечив доступ к линии Пикадилли в районе Блумсбери. Вполне возможно, что молекулы дыхания Вирджинии Вулф еще летают где-то в ее атмосфере! На северо-восточной стороне Рассел-сквер стояли два отеля: огромный поздневикторианский *Russell* бледно-терракотового цвета и более роскошный (ныне снесенный) *Imperial* из темного кирпича, построенный в эдвардианскую эпоху. Предположительно, оба они были видны из задних окон дома 52 на Тависток-сквер, поскольку одно здание на Уоберн-плейс в то время как раз снесли.

V. Тависток-сквер



Площадь Пикадилли

И вот теперь они продали дом и переехали — вместе со всем типографским оборудованием — в район георгианских особнячков и зеленых скверов, что раскинулись вокруг Британского музея. Блумсбери в те годы был не просто почтовым адресом, а состоянием ума. Для Вирджинии он был еще и неотъемлемым синонимом культуры. «Весь Лондон — Лондон, который жемчужина короны, сокровенное сокровище, кладовая шуток, музыки, бесед, дружбы, чего-то важного и невыра-

зимого, Лондон с его пейзажами, издательствами — все это теперь у меня под боком», — цитирует ее Малькольм Брэдбери в своем эссе «Вирджиния Вулф».

Возвращение в Блумсбери стало толчком к самому плодотворному и творческому периоду в жизни Вирджинии во второй половине 20-х и первой половине 30-х. Именно тогда ею были созданы такие важные для ее творчества произведения, как «Миссис Дэллоуэй», «На маяк», «Орландо», «Волны», написано программное эссе «Своя комната», прочитана лекция о современной литературе «Мистер Беннет и мистер Браун», превратившаяся впоследствии в манифест литературного авангарда. Кипела и общественная жизнь Вирджинии — она помогала Т. С. Элиоту, оказавшемуся в бедственном положении, участвовала в заседаниях Женской кооперативной гильдии, вместе с мужем Леонардом принимала участие во Всеобщей национальной стачке, в конференции лейбористов… И просто развлекалась, встречалась с интересными людьми (Томас Харди, У. Б. Йейтс, Герберт Уэллс и многие другие), ходила в гости, в театры, на концерты, много путешествовала по Франции, Италии, Германии… Творческая, счастливая активность

способствовала длительной ремиссии, обретению Вирджинией смысла и радости. Да и Hogarth Press набирал обороты и опыт. Вирджиния становилась знаменитой писательницей и уважаемым критиком. Кстати — это важно! — стиль развлечений поредевшей, но по-прежнему совершенно блумсберийской компании не очень изменился — по свидетельствам очевидцев, Мейнард Кейнс с женой-балериной Лидией Лопуховой отплясывали канкан, а Дункан Грант бродил по залу в маске волкодава.

Дневники Вирджинии этого периода полны записей о прогулках по Лондону. «Не надо прилагать никаких усилий, чтобы встретить прекрасное, — оно обступает тебя повсюду», — радуется она. Признается: «Лондон хорош для писательского труда, отчасти потому, что, как я уже говорила, сама жизнь здесь держит на плаву».

Запись в Дневнике. 26 мая, понедельник. 1924 год

Лондон очарователен. Я как будто ступаю на рыжевато-коричневый ковер-самолет и, не пошевелив пальцем, уношусь в мир красоты. Здесь потрясающие вечера со всеми этими белыми галереями и широкими тихими улицами. И люди снуют туда-сюда, легко и весело, как кролики; я смотрю на Саутгемптон-роу, мокрую, как спина тюленя, или красно-желтую в свете солнца, а еще наблюдаю за постоянно проезжающими омнибусами и слушаю старые безумные органы. Когда-нибудь я напишу о Лондоне, который подхватывает жизнь человека и безо всяких усилий несет ее вперед. Мелькающие лица будоражат мой разум и не дают ему покоя, в отличие от Родмелла с его тишиной… И я люблю Лондон за то, что пишу роман, отчасти благодаря тому, как я уже говорила, что здесь кипит жизнь, а с моим разумом, напоминающим белку в колесе, это великая победа — вовремя перестать бегать по кругу. К тому же мне бесконечно выгодно встречаться с людьми в любое время и без задержек. Я

могу рвануть то в одно место, то в другое и проветрить мозги, если они застоялись.



Вирджиния Вулф, 1927 год

Запись в Дневнике. 27 марта, суббота. 1925 год

<…> Задумалась о том, где провести день. Выбрала Гринвич, добралась туда в час дня; все прошло гладко; выкурила сигарету на набережной; смотрела, как из дымки выплывают корабли: один, второй, третий; обожала все это, даже собачонку смотрителей; увидела серые здания Рена, выходящие окнами на реку; потом был еще один корабль, серо-оранжевый, с женщиной на палубе; потом в госпиталь; сначала в музей, где я увидела перо и посуду сэра Джона Франклина (чтобы распознать в экспонате ложку, требуется богатое воображение). Я играла со своим воображением, наблюдала за ним и чуть не разрыдалась при виде пальто, в котором Нельсон был у Трафальгара, с медалями, которые он прикрывал рукой (чтобы матросы не узнали), когда его, умирающего, несли вниз. Там была и его маленькая пушистая косичка из золотисто-седых волос, перевязанная черной лентой, и длинные белые чулки, один из которых очень грязный, и белые бриджи с золотыми пряжками, и его шарф

— все это, я полагаю, они сняли, пока он лежал при смерти. «Поцелуй меня, Харди», «Якорь, якорь», — прочла я, когда только пришла, и, клянусь, будто перенеслась туда, в день Победы, так что в моем случае чары, похоже, сработали. Потом начался мелкий дождь, но я все равно отправилась в парк, который был весь неровный, пересеченный многочисленными дорожками; затем поехала домой на двухэтажном автобусе и вернулась к чаю. <…>

* * *

Гринвич – «морские ворота» Лондона, историческое предместье, тесно связанное с историей Британского флота и историей формирования Британской Империи. Оно находится на юго-востоке столицы, на правом берегу Темзы, и известно на весь мир Гринвичской обсерваторией, основанной еще в 1675 году королем Карлом II для уточнения жизненно важных для мореплавателей координат. Через Гринвич проходит нулевой меридиан, точка отсчета долготы – со времени строительства обсерватории он сместился на 102,5 метра и обозначен

сегодня стальной лентой. В Гринвиче когда-то находился королевский дворец, в котором родились Генрих VIII и Елизавета I. Эти владения королей стали причиной большого количества Гринвичей в Америке – принцип землевладения, согласно английскому законодательству, предполагает, что правящий монарх является верховным лордом всех земель в terra regis, а остальные землевладельцы как бы вторичны по отношению к нему: этот принцип позволял оформлять колонии в собственность короны. Королевский военно-морской колледж в Гринвиче проектировал Кристофер Рен (1632–1723) – настоящий британский гений – математик, физик, астроном и архитектор, перестроивший центр Лондона после пожара 1666 года. Он отвечал за восстановление 52 церквей в лондонском Сити, построил знаменитый собор Святого Павла, был создателем одного из национальных стилей английской архитектуры конца XVII – начала XVIII века и был самым известным британским масоном. Кувалда, с помощью которой Рен

якобы закладывал фундамент собора Святого Павла, хранится в музее масонства в Лондоне.

Военно-морской музей, который посетила Вирджиния, в 1926 году, располагался в военно-морском колледже – там она увидела реликвии последней экспедиции Джона Франклина (1786–1847), мореплавателя и исследователя Арктики; Горацио Нельсона (1758–1805), командующего британским флотом, смертельно раненного в Трафальгарском морском сражении; Томаса Мастермена Харди (1769–1839) – вице-адмирала Королевского ВМФ Великобритании. Согласно легенде, именно к нему Нельсон, умирая, обратил свои последние слова: «Поцелуй меня, Харди… Слава Богу, я выполнил свой долг… Якорь, якорь…»

Гринвич-парк богат достопримечательностями – в нем находятся остатки древних курганов, захоронений раннего бронзового века, которые саксы повторно использовали в VI веке; руины виллы и каменная дорога времен Древнего Рима, повторяющая еще кельтский маршрут.

Сквозь Гринвич в XI веке промчались викинги в попытке завоевать Кентербери и убили святого архиепископа Альфеджа, от крови которого зацветали палки, – в память о нем Николасом Хоксмуром в 1718 году была построена церковь. А еще в Гринвиче в 1877 году умер в эмиграции русский поэт Николай Платонович Огарёв, обвиненный в России пензенским губернатором в «участии в коммунистической секте». Ближайший друг и соратник Александра Герцена, Николай Огарёв в Лондон попал не случайно: он был арестован и сослан в Пензенскую губернию за пение песен «противоправительственного содержания» еще в 1835 году и находился под полицейским надзором, откуда в 1840 году эмигрировал в Европу. В Лондоне Огарёв и Герцен основали Вольную русскую типографию и издавали журнал «Колокол».



Забастовка рабочих в Манчестере

Лондон в 20-е годы XX века продолжал жить очень насыщенной событиями общественной жизнью: по всей стране шли забастовки шахтеров. Уголь — ископаемое топливо, его качество и условия добычи со временем ухудшаются, и

шахтеры стали требовать повышения зарплаты и улучшения условий труда. Это были первые забастовки в истории Англии, ставшие впоследствии регулярными, — шахтеры требовали снижения уменьшения количества рабочих часов, повышения зарплат. Особенно активны забастовщики становились тогда, когда к власти в стране приходили консерваторы — они стремились урезать льготы, социальные пособия, что порождало новые волны протеста. В истории Великобритании произошло несколько крупных, сопровождавшихся трагедиями забастовок, пока угольная промышленность не утратила своего значения, и шахты не были закрыты, — последняя волна протестов сопровождала правление Маргарет Тэтчер: эти события отражены в произведениях многих известных современных британских авторов, например Дэвида Лоджа. Вирджиния же стала одним из первых непосредственных свидетелей этого сложного процесса, начавшегося в 20-х годах XX века и закончившегося только в 2024 году, буквально на наших глазах, когда угольная отрасль Британии официально прекратила свое существование. Шахтеров в Британии больше нет. Сегодня уголь на остров завозят из Колумбии, это выгоднее, чем сохранять свои

шахты, — таковы удивительные причуды современной экономики. В дневниковой записи от 6 мая 1926 года Вирджиния посмеивается над одним из сотрудников *Hogarth Press* по имени Боб, который потерялся среди бастовавших шахтеров!

Запись в Дневнике. 5 мая, среда. 1926 год

Было бы интересно вести подробный отчет о Забастовке. Сейчас, например, без четверти два; бурый туман; никто ничего не строит; моросит дождь. Первым делом с утра мы подходим к окну и наблюдаем за движением на Саутгемптон-роу. Оно безостановочно. Все на велосипедах; машины набиты людьми до отказа. Автобусов нет. Ни плакатов, ни газет. Мужчины работают на дороге; вода, газ и электричество разрешены, но в 11 часов отключили свет. Я сидела в типографии, вглядываясь в бурый туман, пока Л. писал статью для *Daily Herald*. Из *British Gazette* на велосипеде приехал весьма революционный на вид молодой человек. Л. собирался дать им комментарий. Все было по-военному и держалось в строжайшей тайне. Потом вошел Клайв — дверь оказалась не заперта. Он предлагает себя в помощь правительству. Мейнард взволнован и хочет, чтобы издательство *Hogarth Press* выпустило листовку *Nation*. Все это утомительно, уныло и очень напоминает ожидание поезда на платформе.

Ходят слухи, что в час отключат газ, — вранье, разумеется. Не знаешь, что делать. Да и погода сегодня соответствующая: туман, дождь, холод. Голос, довольно заурядный и официальный, хотя никакого другого нет, желает нам доброго утра в 10 часов. Это голос Британии, на которой мы не можем ответить. Голос банален и сообщает нам лишь о том, что принц Уэльский возвращается [из Франции] и что происходящее на улицах Лондона беспрецедентно.

Запись в Дневнике. 6 мая, четверг. 1926 год

<…> Дела сегодня лучше. Мы продали несколько книг. Боб встал в пять утра, чтобы избежать толпы, и ехал на велосипеде от холма Лейт-Хилл. Час спустя он проколол шину, встретил своего портного, который помог ему с починкой, продолжил путь, чуть не погиб в толпе на подъезде к Лондону и с тех пор бродит по городу, из Челси в Блумсбери, собирая сплетни и бессвязно бормоча об эссе Дезмонда и собственной поэзии. <…>

* * *

В конце июня 1925 года владельцы шахт объявили о намерении сократить заработную плату шахтеров и увеличить рабочее время с 7 до 8 часов. В случае несогласия с требованиями предприниматели обещали в ночь на 1 августа объявить локаут. Правительство посчитало необходимым вмешаться в конфликт и 31 июля приняло решение предоставить шахтовладельцам крупную субсидию,

что позволило поддерживать заработную плату на прежнем уровне до конца апреля 1926 года. В середине апреля владельцы шахт заявили о готовности прибегнуть к локауту 1 мая, если шахтеры не согласятся на порайонное заключение договоров о введении 8-часового рабочего дня и снижение заработной платы. 30 апреля правительство объявило о введении в стране чрезвычайного положения с 1 мая, что ставило вне закона любые забастовки и позволяло властям в случае необходимости использовать войска. Но 1 мая конференция исполкомов профсоюзов приняла решение о проведении общенациональной забастовки в поддержку шахтеров. Всеобщая забастовка длилась целых десять дней – с 4 по 13 мая 1926 года.

Принц Уэльский, вернувшийся из Франции, – это будущий король Эдуард VIII (1894–1972). Он правил страной всего десять месяцев: с 20 января по 11 декабря 1936 года – и отрекся от престола, чтобы жениться на любимой женщине – разведенной Уоллис Симпсон. Он тоже стал

символом перемен в жизни Британии, нового отношения к монархии – до него от престола отрекалась только Мэри Стюарт в XVI веке. Хотя Уинстон Черчилль считал, что «парламент… выказывать свое отношение к поведению монарха… не имел права. Это совершенно не та причина, которая породила противостояние между парламентом и королем. Вопрос брака с Уоллис мог бы быть решен в обычном ходе обсуждения в парламенте», и намекал на слабость несостоявшегося монарха.

Лондон тем временем превращался уже не только в промышленную, но и в культурную столицу Англии: в начале XX века была введена пятидневная рабочая неделя, и большинство лондонцев, а многие в те времена жили в небольших квартирках, стали проводить значительную часть свободного времени вне дома. Дети играли на улице, молодежь по вечерам прогуливалась в центре города, люди постарше сидели в пабах. Популярность постепенно завоевали кинотеатры, танцевальные залы и спортивные мероприятия, росло количество концертных залов — вечера-

ми в Вест-Энде стало многолюдно, особенно на Лестер-сквер и Пикадилли-Серкус. Несмотря на конкуренцию со стороны кинотеатров, период до Второй мировой войны был золотым веком для театров. В Вест-Энде и других районах Лондона открывались многочисленные новые площадки, на которых можно было посмотреть комедии, драмы, мюзиклы и эстрадные представления. С развитием железных дорог и пассажирских лайнеров Лондон все больше становился туристическим центром, были построены новые крупные отели, открыты изысканные рестораны и кафе.

В 1927 году Вирджиния написала эссе «Лондонское приключение» (*Street Hunting: A London Adventure*) о неторопливой прогулке по улицам Лондона зимой — автор отправляется купить обычный карандаш, но получается целое волшебное приключение. Словосочетание *Street Hunting* трудно перевести на русский — буквально это звучит как «Уличная охота»: то есть Вулф намекает на свою любовь к неожиданным открытиям на улицах Лондона, попытках взглянуть на Лондон не просто как на город, а как на место неожиданных находок, источников творческого вдохновения. Писательница с удовольствием

погрузилась с помощью своего удивительного воображения в жизнь лондонцев и атмосферу города, а зимний вечер создал особую атмосферу, которая повлияла на настроение и тон эссе — поэтичное, пронизанное мягким юмором, позволяющее заглянуть в душу художника. Впервые эссе было опубликовано в журнале *Yale Review* в октябре 1927 года.



Вирджиния Вулф, 1929 год

Эссе «Лондонское приключение» (1927 год)

Нет человека, который бы питал страстную любовь к карандашу. Бывают, однако, обстоятельства, когда испытываешь неодолимое желание им обзавестись, минуты, когда мы задаемся целью приобрести его любой ценой. И под этим предлогом между чаем и ужином мы идем пешком через весь Лондон.

Подобно тому, как охотник охотится на лис, чтобы сохранить лисью породу, а спортсмен играет в гольф, чтобы сохранить от застройки открытые пространства, карандаш служит отличным поводом для прогулки по лондонским улицам. «В самом деле, мне ведь нужен карандаш, — говорим себе мы, вставая, — должен же найтись предлог, чтобы получить ни с чем не сравнимое удовольствие от путешествия пешком по зимнему Лондону!»

Зимнему и вечернему, ибо зимним вечером воздух искрится, точно шампанское, и заполненные пешеходами улицы особенно к себе располагают. В такое время дня, в такое время

года нас не тянет, как летом, искать тень и покой, вдыхать сладкий запах скошенных лугов. Кроме того, в вечерние часы мы ощущаем легкомыслие, которому способствуют темнота и уличные фонари. Мы уже больше себе не принадлежим. Когда чудесным вечером, между четырьмя и шестью, мы выходим из дома, то перестаем быть собой, теми, кого знают наши друзья, и вливаемся в несметную республиканскую армию неведомых странников, в чьем обществе мы так нуждаемся после одиночества своей комнаты. Ведь у себя дома мы находимся в окружении предметов, в которых сказывается причудливость наших темпераментов, которые удерживают в памяти лишь наш собственный опыт. Взять хотя бы эту вазу на камине, куплена она была в Мантуе ветреным днем. Мы выходили из магазина, когда какая-то зловещего вида старуха дернула нас за юбки и сказала, что не сегодня завтра помрет от голода. «Берите ее!» — вскричала она и всучила нам эту бело-синюю вазу с таким видом, будто не желает и слышать о своем донкихотском благородном поступке. С виноватым видом, однако заподозрив, что нас обвели вокруг пальца, мы отнесли вазу обратно к себе в гостиницу, где посреди ночи хозяин с такой яростью отчитывал

жену, что мы все выглянули во двор посмотреть, что происходит, и увидели виноградные лозы, оплетавшие колонны, и белевшие в небе звезды. Это мгновение, словно втоптанная в землю монетка, запомнилось, неизгладимо запечатлелось среди миллиона других, незаметно ускользнувших мгновений. Был там еще меланхоличный англичанин, вознесшись над кофейными чашками и маленькими железными столиками, он, как и все путешественники, принялся изливать нам душу. Все это — и Италия, и ветреное утро, и обвившиеся вокруг колонны виноградные лозы, и англичанин с тайнами своей души — все это поднялось облаком над стоявшей на камине фарфоровой вазой. А вот еще бурое кольцо на ковре. Всему виной был мистер Ллойд-Джордж. «Этот человек — сущий дьявол!» — сказал мистер Каммингс, собиравшийся заварить чай и в сердцах опустивший чайник с кипятком на ковер, отчего на нем осталось бурое кольцо.

Но когда мы выходим на улицу и дверь за нами закрывается, все это исчезает. Раковина, которую создали наши души, чтобы мы могли незаметно в эту раковину поместиться, придать себе очертания, непохожие на любые другие, разбилась, и от всех этих наших несообразностей остался лишь

моллюск восприимчивости — огромный глаз. Как же красива улица зимой! Она одновременно и бросается в глаза, и скрывается из глаз. Здесь, словно в тумане, видишь череду дверей и окон; здесь, под фонарями, проплывают островки бледного света, в котором снуют, сменяя друг друга, оживленные мужчины и женщины. При всей их бедности, заполошенности в лицах сквозит нечто нереальное, вид у них победоносный, как будто они ускользнули от жизни, и жизнь, лишившись своей добычи, бредет на ощупь, как придется, без них. Что ж, в конце концов мы лишь скользим по поверхности. Наш глаз — не рудокоп, не водолаз, не искатель припрятанных сокровищ. Он словно бы плывет по течению, отдыхает, замирает; глаз смотрит, мозг же тем временем, возможно, спит.

Как красива лондонская улица с ее островками света и темными закоулками, по одну ее сторону вырастают вдруг какие-то деревья или поросший травой газон, где ночи так уютно спится, а по другую — железная ограда, за которой вдруг раздастся потрескивание сухой ветки и шум листвы, как будто вокруг спящие поля, ухает сова и вдалеке, где-то в долине, идет поезд. Но ведь это Лондон, напоминаем мы себе; высоко, среди голых деревьев, светятся косым красновато-желтым светом

окна; фонари, точно низкие звезды, переливаясь, освещают путь. Пустырь, от которого веет мирной сельской жизнью, это всего-навсего лондонский сквер. Вокруг громоздятся дома, конторы, где в этот час ослепительный свет падает на карты, на документы, на письменные столы, за которыми клерки смоченным указательным пальцем листают страницы нескончаемой деловой переписки. За окнами частного дома огонь в камине, лампа под абажуром проливают теплый, колеблющийся свет на гостиную, на мягкие кресла, на обои, на фарфор, на стол с инкрустацией, на женщину, которая сосредоточенно считает чайные ложечки. Смотрит на дверь, словно услышала внизу звонок и чей-то голос: кто-то спрашивает, дома ли она.

Но тут нам совершенно необходимо прерваться, ведь мы рискуем погрузиться туда, куда глазу не добраться. Мы хоть и несемся по течению, однако то и дело натыкаемся то на ветку, то на выступающий из воды корень. В любую минуту спящая армия может пробудиться и в ответ пробудить в нас тысячи скрипок и труб; армия человеческих особей может восстать и во всеуслышание заявить о всех своих причудах, и страданиях, и подлостях. Давайте же ненадолго

остановимся, будем довольствоваться только тем, что на поверхности, — ослепительным блеском проезжающих автомобилей, кровавым великолепием мясных лавок с их желтыми бочками и алыми бифштексами, синими и красными букетами цветов, что весело переглядываются за сверкающими витринами цветочных магазинов.

У глаза странное свойство: он отдыхает, только когда смотрит на красоту; подобно бабочке, он ищет цвет и наслаждается теплом. В такой зимний вечер, когда природа изо всех сил прихорашивается, он награждает нас самыми ценными трофеями, откалывает кусочки изумрудов и кораллов, так, точно вся земля состоит только из драгоценных камней. Одно только ему не под силу (мы говорим о самом обыкновенном, непрофессиональном глазе) — составить эти трофеи таким образом, чтобы бросались в глаза самые непонятные, неожиданные связи. В результате, после продолжительной диеты, довольствуясь этой простой, здоровой пищей, красотой чистой и беспримесной, мы сознаем, что пресытились. Мы останавливаемся в дверях обувного магазина и под пустяшным предлогом, который не имеет ничего общего со здравым смыслом, меняем яркое многообразие улиц на сумрак, беспросветность,

и, послушно поставив левую ногу на подставку, задаемся законным вопросом: «Каково это быть карликом?»

Она вошла в сопровождении двух женщин; оттого, что были они нормального роста, рядом с ней они напоминали великодушных великанш. Улыбаясь продавщицам, они как будто отказывались признать ее изъян, уверяли ее в своей поддержке. На лице у карлицы застыло брюзгливое и в то же время виноватое выражение, обычное у уродов. Она нуждалась в их доброте, в их расположении, и, вместе с тем, доброта эта выводила ее из себя. Но когда продавщицу подозвали, когда великанши, по-прежнему ласково улыбаясь, попросили ее подобрать туфли для «этой леди» и продавщица поставила перед ней небольшое возвышение, — карлица подняла ногу с такой порывистостью, что мы не смогли не обратить на это внимание. «Нет, вы только посмотрите! Посмотрите!» — словно бы взывала она к нам. Смотреть и правда было на что, ибо мы увидели изящную, стройную ногу взрослой женщины. Изящная, с высоким подъемом артистическая ножка. Вся ее манера держаться тотчас же изменилась, стоило ей окинуть взглядом стоящую на возвышении ногу. Взглядом спокойным

и довольным собой, самонадеянным взглядом. Она мерила одну пару обуви за другой, вставала и прохаживалась перед зеркалом, в котором отражалась только ее нога — в желтых туфлях, в коричневых туфлях, в туфлях из крокодиловой кожи. Она приподнимала свои маленькие юбки и демонстрировала свои маленькие ножки. Ноги — должно быть, думала она — самая важная часть тела; женщин, убеждала она себя, всегда любили только за их ноги. Оттого, что она не видела ничего, кроме своих ног, ей, быть может, казалось, что и все ее тело ничем не отличается от этих красивых ног. Одета она была скромно, при этом готова была выложить за новые туфли любую сумму. И коль скоро карлица знала, что лишь в обувном магазине ей нечего бояться вызвать напряженные, испуганные взгляды, она готова была любым способом, как можно дольше продолжать выбирать и мерить обувь. «Посмотрите на мои ножки», — казалось, говорила она, поворачиваясь то так, то эдак. Продавщица, по доброте душевной, вероятно, сказала ей что-то лестное, так как она вдруг просияла. Однако у великанш, какими бы великодушными они ни казались, были свои дела; она должна принять решение, остановить на чем-то свой выбор. Ту-

фли, наконец, были куплены, и, когда она вместе со своими великаншами выходила из магазина с качавшимся на пальце свертком, радость ее поблекла, память вернулась, на лице вновь появился брюзгливый и виноватый вид, и магазин она покинула такой же, как была, карлицей, и никем другим.

Наше настроение изменилось. Когда мы следом за ней вышли на улицу, у нас возникло ощущение, что нас со всех сторон окружают неполноценные люди: горбуны, калеки, карлики. По тротуару нам навстречу шагали двое бородатых мужчин, по всей вероятности слепых. Они шествовали, положив руки на голову маленькому мальчику, идущему между ними. Двигались слепые той непреклонной и в то же время неверной походкой, какой идут незрячие, и в этой их походке, в том, как они приближались, сквозили ужас и неизбежность постигшей их судьбы. Держались они прямо, шли в ногу и своим молчаливым, целеустремленным, скорбным порывом, казалось, рассекали толпу прохожих надвое. В самом деле, карлица словно бы вовлекла нас в неловкий, спотыкающийся, гротескный танец. Вовлекла всех, находившихся в это время на улице: полную даму, кутавшуюся в броский котиковый жакет,

слабоумного мальчика, сосавшего серебряный набалдашник своей палки, старика, сидящего на корточках на крыльце с таким видом, будто он охвачен абсурдом человеческого спектакля; старик присел на корточки, чтобы на этот спектакль взглянуть. Все, каждый на свой лад, пустились, по мановению карлицы, в пляс.

В каких щелях, в каких закоулках — поневоле задаешься вопросом — скрывается эта искалеченная жизнью компания убогих и увечных? Может быть, здесь, в верхних комнатах этих узких старых домов между Холборном и Сохо, где у жильцов такие странные имена, где у них такие разнообразные, диковинные профессии? Кого тут только нет: и золотобойцы, и плиссировщики, и торговцы пуговицами. Чем тут только не зарабатывают на жизнь: торгуют чашками без блюдец, фарфоровыми ручками от зонтов, разноцветными открытками с изображением святых мучеников. Тут они и живут, и, похоже, дама в котиковом жакете на жизнь не жалуется из-за того, что проводит время с плиссировщиком или торговцем пуговицами; жизнь, которая так фантастична, что не может быть совсем уж трагической. Они не завидуют нам, нашему благосостоянию, думаем мы, когда, повернув за угол,

сталкиваемся с бородатым евреем: дикие, изголодавшиеся глаза, пялится на нас, выглядывая из-за своих невзгод. А вот горбатая старуха, валяется, брошенная всеми, на ступеньках публичного здания; лежит, прикрывшись плащом, похожим на тряпку, которую в спешке набрасывают на павшую лошадь или сдохшего осла. От вида всего этого убожества по спине пробегают мурашки, в глазах вспыхивает яркий свет, задаешься вопросом, на который нет ответа. Довольно часто эти отверженные выбирают места неподалеку от театров, от тех улиц, откуда доносятся звуки шарманки, мелькают плащи в блестках и сверкающие в темноте штиблеты спешащих на званый ужин или на танцы. Они лежат рядом с витринами, где в расчете на старух, валяющихся на ступеньках, на слепых, на ковыляющих карликов выставлены диваны с позолоченными гордыми шеями лебедей на изголовьях, столы с инкрустированными корзинами разноцветных фруктов, буфеты, вымощенные зеленым мрамором, чтобы не рухнуть под весом блюда с кабаньей головой, и ковры, так стершиеся от времени, что гвоздики в бледно-зеленом море почти не видны.

Когда идешь и смотришь по сторонам, то кажется, будто всё кругом по случайности, но и

по волшебству окроплено красотой, как будто волны коммерции, что так целеустремленно и прозаично набегают на берега Оксфорд-стрит, выбрасывают в этот вечер одни сокровища. Наш глаз, хоть он и не собирается ничего покупать, весел и щедр; он творит, он украшает, он преувеличивает. Стоишь на улице и обставляешь комнаты воображаемого дома, украшаешь их, как тебе заблагорассудится, — диваном, столом, ковром. Вот этот ковер годится для холла. А эта гипсовая ваза будет стоять на резном столике у окна. Наше веселье отразится вон в том круглом зеркале в тяжелой раме. Мы построили и украсили этот дом, но, по счастью, вовсе не обязаны владеть им; нам ничего не стоит в мгновение ока его разобрать и построить, и обставить другой дом с другими стульями, другими зеркалами. Или давайте зайдем в магазин старинных драгоценностей, полюбуемся кольцами на подносах, висящими ожерельями. Давайте выберем вот это жемчужное ожерелье, а потом вообразим, как, если мы его наденем, изменится наша жизнь. Кажется, что уже два или три часа утра, на пустых улицах Мейфэра каким-то очень белым светом горят фонари. В этот час на улицах одни автомобили, возникает чувство пустоты, безза-

ботности, радости, которыми не поделишься ни с кем. В жемчугах, в шелке выходишь на балкон, под которым раскинулись сады спящего Мейфэра. В спальнях кое-где еще горит свет, великие люди только что вернулись с приема во дворце, лакеи в шелковых чулках, высокопоставленные вдовы пожимают руки государственным деятелям. Кошка стелется по садовой ограде. В укромных нишах комнаты, за толстыми зелеными занавесками, слышится соблазнительный шепот любовных пар. Степенно прогуливаясь, так, словно он расхаживает по террасе, под которой, нежась в солнечных лучах, лежат графства Англии, престарелый премьер-министр рассказывает леди такой-то с локонами и изумрудами всю правду о глубоком политическом кризисе, постигшем страну. Нам мнится, будто мы куда-то несемся, забравшись на самую высокую мачту самого высокого корабля, и в то же время мы знаем: все это ничего не значит, любовь таким образом не докажешь, да и великие события этим не кончаются. А потому, стоя на балконе и глядя, как кошка в лунном свете карабкается по садовой стене принцессы Мэри, мы ловим момент и слегка прихорашиваемся.

Что за вздор! На самом же деле часы только что

пробили шесть; сейчас зимний вечер, мы идем по Стрэнду купить карандаш. Не можем же мы в это самое время стоять в жемчугах на балконе в июне! Какой абсурд! И тем не менее это ведь не наша причуда, а причуда природы. Когда она взялась за сотворение своего шедевра — человека, ей надо было думать только об этом и ни о чем другом. Она же, повернув голову, глядя через плечо на каждого из нас, внушила нам инстинкты и желания, которые никак не связаны с нашей сущностью, и в результате мы выкрашены не одной краской, а несколькими, перемешанными, между собой не сочетающимися. Кто я? Та, что стоит на Стрэнде в январе, или та, что смотрит с балкона на Мейфэр в июне? Я здесь или я там? Или наше истинное я — не это и не то, не здесь и не там, оно так многозначно, так неузнаваемо, что, только когда мы дадим ему волю, не будем его удерживать, только тогда мы станем самими собой. Обстоятельства стремятся к упрощению, человек, чтобы удобней было иметь с ним дело, должен быть кем-то привычным, единым целым. Добропорядочный гражданин, когда он открывает вечером дверь, должен быть банкиром, игроком в гольф, мужем, отцом — а не кочевником, бредущим по пустыне, или мистиком,

устремившим взор в небо, или распутником в трущобах Сан-Франциско, или воином, ставшим во главе революции, или парией, стенающим от скептицизма и одиночества. Когда он открывает дверь, то должен, как и все остальные, пригладить рукой волосы и закрыть зонт.

А вот, наконец, и лавка букиниста. Здесь мы скроемся от несовместимых потоков бытия, здесь переведем дух после радостей и горестей улиц. Чего стоит хотя бы вид жены букиниста: сидит, уравновешенная, довольная жизнью, у камина, ногу поставила на каминную решетку. Она никогда ничего не читает, разве что газету, если о чем и говорит, когда тема книгопродажи исчерпана, то исключительно о шляпках; ей нравятся шляпы, они, говорит она, практичны и хорошо смотрятся. Нет-нет, в магазине они с мужем не живут, они живут в Брикстоне: «Не представляю себе жизни без природы». Летом, чтобы оживить сумрак книжной лавки, она ставит на пыльную пачку книг кувшин с цветами из собственного сада. Книги здесь повсюду, и нас охватывает всегдашний дух приключений. Букинистические книги — дикие книги, бездомные книги, они слетаются сюда, точно огромные стаи самых диковинных птиц, от них исходит обаяние, которого

нет у приручённых томов домашней библиотеки. В этой разношерстной книжной компании мы можем по чистой случайности наткнуться на незнакомца, который, если повезет, станет нашим лучшим на свете другом. Когда мы снимем с самой верхней полки какую-нибудь сероватобелую книгу, которая привлекла наше внимание своей неказистостью и заброшенностью, всегда есть надежда, что на ее страницах мы встретимся с человеком, который более ста лет назад выехал верхом на шерстяной рынок в Мидлендсе или в Уэльсе. Никому не ведомый путник, он останавливался в придорожных гостиницах, выпивал пинту пива, поглядывал на хорошеньких девушек и приглядывал за местными обычаями. И все, что видел, записывал. Писал усердно, медленно, удовольствия ради (издавалась книга за его счет). Его стиль отличался будничностью, прозаичностью, и он не мог себе представить, что от этой будничности веет ароматом роз и сена, что его портрет навсегда запечатлеется в укромном уголке читательского воображения. Сейчас его книжку можно было купить за восемнадцать пенсов. На обложке стояла цена три шиллинга и шесть пенсов, но жена букиниста знала, как книга истрепалась и сколько времени пролежала у

них с тех пор, когда была куплена на распродаже библиотеки какого-то джентльмена из Суффолка, и готова была отдать ее нам задешево.

Осматривая книжную лавку, мы испытываем порой неожиданные, недолговечные дружеские чувства к неведомому и исчезнувшему. Вот к этому маленькому сборнику стихов, например: отличная печать, прекрасные гравюры, на фронтисписе портрет автора. Он был поэтом, утонул в молодости, в его стихах, пусть и слабых, поверхностных, нравоучительных, было что-то горькое, мелодичное, как у шарманки, которую где-нибудь на задней улице с отрешенным видом крутит старик-итальянец в плисовом пиджаке. А сколько здесь путешественниц, этих неукротимых старых дев, что жалуются на неудобства, выпавшие на их долю, и с придыханием описывают заход солнца, которым они восхищались в Греции, когда королева Виктория была еще девочкой. Путешествие в Корнуолл с посещением оловянных копий было также сочтено достойным многостраничного описания. Одни медленно плыли вверх по Рейну и писали тушью портреты друг друга; другие сидели на палубе рядом с мотком канатов и читали; третьи карабкались на пирамиды, годами странствовали невесть где, загоняли негров в чумные

болота. Укладывали чемоданы и уплывали, исследовали пустыни и заболевали лихорадкой, переезжали жить в Индию, добирались даже до Китая, а потом возвращались вести тихую жизнь в Эдмонтоне. Горы книг на пыльном полу, точно волны, накатывающиеся на берег, у самых дверей этих неугомонных англичанок. Воды странствий и приключений обрушиваются на островки тяжкого, многолетнего труда, книги, точно зубчатые колонны, неровными рядами высятся до потолка. В грудах этих переплетенных красной кожей томов с золотой монограммой на задней обложке вдумчивые священники толкуют Евангелие. Слышно, как ученые своими молотками и долотом обтесывают древние тексты Еврипида и Шекспира. Размышления, комментарии, толкования захлестывают все вокруг, живое и мертвое, древние воды беллетристики катятся на нас вечным, неудержимым потоком. Бессчетные тома рассказывают, как Артур любил Лауру, как они расстались, как были несчастны и как потом они встретились вновь и были счастливы всю оставшуюся жизнь — иначе и быть не могло, когда Виктория правила этими островами.

Количество книг на свете неисчислимо, остается лишь смотреть по сторонам и кивать, и,

перекинувшись словом, осененным мыслью, идти дальше. Вот и на улице до тебя доносятся чьи-то слова, и из случайно оброненной фразы рождается целая жизнь. Эти женщины говорят о какой-то Кейт, о том, как «Вчера вечером я ей прямо так и сказала… если, по-твоему, — говорю, — я ничего не стою…». Но кто такая Кейт, из-за чего подруги поссорились, мы никогда не узнаем, ибо Кейт растворяется в их бурной беседе. И здесь же, на углу, открывается еще одна страница из книги жизни: мы видим двух мужчин, разговаривающих под фонарем. Они обсуждают только что полученную из отдела новостей телеграмму из Ньюмаркета. Они что же, думают, что судьба когда-нибудь превратит их изношенную одежду в меха и поплин, что на то место, где у них сейчас ношеная рубашка с открытым воротом, судьба повесит цепочку от часов и вденет брильянтовые булавки? Но основной поток прохожих в этот час проносится слишком быстро, и задать им такие вопросы мы не успеваем. Теперь, когда этим двоим не нужно больше сидеть за письменным столом, когда у них появился свежий румянец на щеках, их по пути с работы домой обволакивает какой-то наркотический сон. Они наряжаются в броские одежды, которые должны будут на

весь остаток дня повесить в шкаф и запереть на ключ, и становятся великими игроками в крикет, знаменитыми актерами, солдатами, спасшими отечество в тяжкую годину. Мечтая, жестикулируя, часто бормоча вслух какие-то слова, они пробегают по Стрэнду, переходят реку по мосту Ватерлоо, откуда длинные громыхающие поезда доставят их в аккуратный маленький домик в Барнсе или в Сербитоне, где вид часов в холле и запах ужина этажом ниже прерывают этот наркотический сон.

Но вот и Стрэнд, и, пока мы в нерешительности переминаемся на обочине, маленький стержень длиной в палец становится помехой на нашем пути, угрожает полноценности нашей жизни. «Я же должна, я же должна…» Не вдаваясь в суть этого требования, наш ум съеживается перед всегдашним тираном. Ты должен, ты всегда должен, должен сделать то, сделать это; просто радоваться жизни недопустимо. Не по этой ли причине мы какое-то время назад под каким-то предлогом придумали, что нам необходимо что-то купить? Но что? Ну да, конечно, карандаш. Так пойдем же и купим этот карандаш. Но не успеваем мы повернуться и выполнить задуманное, как наше второе я оспаривает право тирана настоять

на своем. Возникает привычный конфликт. За маленьким стрежнем, указывающим нам путь, мы видим разлившуюся во всю ширь Темзу — необъятную, угрюмую, мирную. И видим мы ее глазами того, кто летним вечером, не испытывая ни малейшего страха, перегнулся через парапет. Давайте отложим покупку карандаша, давайте пойдем на поиски этого человека. И скоро становится очевидным, что человек этот — мы сами. Ведь если мы можем стоять там, где стояли шесть месяцев назад, почему бы нам опять не быть теми, кем мы были тогда, — спокойными, равнодушными, довольными собой? Так давайте попробуем. Но река сейчас серая, беспокойная, не такая, как тогда. Она течет в море и тянет за собой буксир и две баржи, в баржах под тщательно накрытым брезентом груз соломы. Рядом с нами, облокотившись на парапет, стоит любовная парочка, у них обоих на удивление отсутствует столь свойственная влюбленным застенчивость, держатся они так, будто важность дела, которым они заняты, требует от человечества снисходительности. То, что мы видим, то, что слышим, не имеет ничего общего с прошлым; точно так же, как мы нисколько не разделяем безмятежности человека, который полгода назад стоял на том

самом месте, где мы стоим сейчас. Его счастье — в смерти, наше — в неуверенности в жизни. У него нет будущего; будущее даже сейчас вторгается в наш мир. По-настоящему насладиться миром мы можем только тогда, когда, глядя в прошлое, лишим его неопределенности. Ну а сейчас пора поворачиваться, снова перейти Стрэнд на противоположную сторону и поискать магазин, где даже в этот час нам будут готовы продать карандаш.

Входить в новое помещение — это всегда испытание, ведь жизнь и характер его владельцев вдохнули в него свои чувства, создали его под себя, и стоит нам переступить порог, как нас подхватывает совсем другая, новая эмоциональная волна. Здесь, в этом писчебумажном магазине, его владельцы, вне всяких сомнений, ссорились. Воздух был пропитан их гневом. Когда мы вошли, оба замолчали, старуха — они с очевидностью были мужем и женой — удалилась в заднюю комнату. Старик, чей выпуклый лоб и выпученные глаза хорошо бы смотрелись на фронтисписе какого-нибудь елизаветинского фолианта, остался в магазине нас обслужить. «Карандаш, карандаш, — твердил он, — конечно, конечно». В его голосе слышалось раздражение и,

одновременно, рассеянность человека, который, не успев до конца выразить свои чувства, сразу же с ними справился. Он стал открывать коробку за коробкой и опять их закрывать. Сказал, что когда столько товара, то невозможно ничего найти. Начал рассказывать историю про какого-то юриста, который попал в беду из-за поведения своей жены. С этим юристом он был знаком много лет, ведь полвека, сказал старик, он имел дело с Темплем; сказал, словно хотел, чтобы его жена в задней комнате услышала, что он говорит. Он опрокинул коробку с резиновой тесьмой, и, наконец, выведенный из себя своей беспомощностью, распахнул дверь и грубо крикнул: «Где у тебя карандаши?» — так, будто жена их от него спрятала. Старуха вошла. Ни на кого не глядя, она с праведным негодованием положила руку на нужную коробку с карандашами. Не может обойтись без нее? Значит, она ему нужна? Чтобы удержать их здесь, стоявших плечом к плечу, с трудом сохранявших нейтралитет, нужно было не торопиться с выбором карандашей; этот слишком мягкий, тот слишком твердый. Они стояли и молча за нами наблюдали. И чем дольше они так стояли, тем спокойнее становились, их пыл остывал, гнев пошел на убыль. При том, что ни

он, ни она не сказали друг другу ни слова, ссора закончилась. Старик, чья внешность украсила бы титульную страницу комедий Бена Джонсона, поставил коробку обратно на место, с низким поклоном пожелал нам спокойной ночи, и они исчезли. Она вновь возьмется за шитье, он будет читать газету, а канарейка — беспристрастно обсыпать их зернами. Ссоры как не бывало.

За то время, что мы искали тени прошлого, завязывалась ссора, покупался карандаш, улицы опустели. Жизнь вернулась на верхние этажи, зажглись фонари. Тротуар стал сухим и твердым, мостовая отливала чеканным серебром. По пути домой пустынными улицами можно будет рассказать самому себе историю о карлице, о слепцах, о приеме в особняке Мейфэра, о ссоре в писчебумажном магазине. В каждую их этих жизней можно будет погрузиться настолько, чтобы создавалась иллюзия, будто человек не привязан к одному телу, к одному рассудку и может хотя бы на несколько минут переселиться в тело и рассудок другого. Может на время стать прачкой, содержателем бара, уличным певцом. И нет большего удовольствия, большего чуда, чем сойти с прямого пути своей личности и углубиться в нехоженые тропы, что ведут под куманикой и

могучими стволами деревьев вглубь леса, где живут эти дикие звери — люди, такие же, как и мы.

Что верно, то верно: скрыться из вида — величайшее удовольствие; бродить по улицам зимой — незабываемое приключение. И все же, когда мы вновь вступаем на порог своего дома, приятно ощущать старые вещи, которые нас окружают, наши давние предрассудки. Радостно, что гонимые ветром на стольких городских перекрестках, опаленные, словно мотылек в пламени, столькими недосягаемыми уличными фонарями, мы, наконец, нашли свое пристанище, находимся в безопасности. Вот она наша дверь, вот стул, мы его повернули, когда уходили, вот фарфоровая ваза и бурое кольцо на ковре. И вот — давайте же с нежностью оглядим его со всех сторон, давайте прикоснемся к нему со всем почтением, ведь это единственный трофей из всех сокровищ города, который нам удалось себе присвоить, — самый обыкновенный графитовый карандаш.

* * *

Сохо, чье название стало нарицательным, – один из самых популярных и известных районов Лондона. Существует интересная легенда, согласно которой

название Сохо произошло от охотничьего клича. Якобы в азарте охоты король Генрих VIII и его свита вопили во все горло *So Ho* – в это нетрудно поверить, тем более что именно этот король сделал это место королевским парком. А в 1680-х годах здесь уже возводилось жилье для богатых горожан. Сохо очень пострадал от холеры в 1854 году, в течение большей части XX века был известен как центр секс-индустрии и всяких пороков, но сейчас это фешенебельный район, и его обожают не только туристы, но и местные жители. Здесь можно встретить всех: и банковских работников, отдыхающих после офисной работы, и веселящихся артистов и музыкантов, и бесшабашных студентов, и вообще всех живущих в Британии людей. Название «Сохо» стало нарицательным для деловых кварталов – во многих городах мира сегодня есть свой «Сохо».

210. c. 92. 2

MRS. DALLOWAY

VIRGINIA WOOLF

PUBLISHED BY LEONARD & VIRGINIA WOOLF AT THE
HOGARTH PRESS, 52 TAVISTOCK SQUARE, LONDON, W.C.
1925

Обложка первого издания романа «Миссис Дэллоуэй»

Район Мейфэр получил название от майской ярмарки (англ. *May Fair*) – хотя она была упразднена по требованию местных жителей еще в 1764 году. В XVIII веке застройкой квартала занимались герцоги Вестминстеры из рода Гровенноров; их имя увековечено в названии центральной площади Гровенор-сквер. В этом же районе расположена и знаменитая Бонд-стрит с магазинами и ателье, Королевская академия художеств и дом-музей Генделя: именно здесь гуляла по магазинам миссис Дэллоуэй. Сегодня этот район славится шикарной малоэтажной недвижимостью, роскошными магазинами и ресторанами, пятизвездочными отелями, здесь базируются посольства многих стран.

Холборн – старинная лондонская улица, которая проходит по территории Сити, Камдена и Вестминстера, служит границей между кварталами Блумсбери и Ковент-Гарден. В исторических справ-

ках первое упоминание о районе Холборн датируется 959 годом и связано с правлением короля Эдварда и строительством церкви Сент-Эндрюс-Черч. Церковь была деревянной и в пожаре 1666 года сгорела, но ее восстановил в камне великий Кристофер Рен.

Стрэнд – центральная улица Лондона, которая соединяет районы Вестминстер (центр политической жизни) и Сити (центр деловой активности), она начинается на Трафальгарской площади и ведет на восток параллельно течению Темзы в сторону Флит-стрит. На этой улице жили многочисленные знаменитые викторианцы – Томас Карлейль, Чарльз Диккенс, Теккерей и др.

Брикстон – район в южной части Лондона, в нем издавна селились в большом количестве мигранты. Во времена Вирджинии Вулф он был скорее пригородом – мост через Темзу был построен в 1816 году.

Дэвид Ллойд Джордж, 1-й граф Дуйвор, виконт Гвинед – британский политический деятель, последний премьер-ми-

нистр Великобритании от Либеральной партии (1916–1922). А **мистер Каммингс** совсем не исторический деятель, а просто один из персонажей романа Вирджинии Вулф «Миссис Дэллоуэй», он возникает еще и в пьесе Эдуарда Олби «Кто боится Вирджинии Вулф?» как человек, не имеющий четких целей в жизни, обыкновенный обыватель.

В дневниках этого самого плодотворного, активного и спокойного периода Вирджинии Вулф — красивый Лондон и признания его счастливой обитательницы:

Запись в Дневнике. 31 мая, четверг. 1928 год

<…> Июньская погода. Тихо, ярко, свежо. Благодаря «маяку» (автомобилю) я уже не чувствую себя запертой в Лондоне, как раньше, и могу представить свой вечер где-нибудь на вересковой пустоши или во Франции без прежней зависти, которую я испытывала, проводя прекрасные вечера в Лондоне. Хотя и Лондон постоянно притягивает меня, стимулирует, вдохновляет на пьесу, рассказ или стихотворение и не доставляет никаких проблем, если не считать, что приходится много ходить пешком. Сегодня днем я прогулялась с Пинкер до Грэйс-Инн-Гарденс [парк] и увидела Ред-Лайон-сквер; дом Морриса; представляла, как они проводили зимние вечера в 1850-х; решила, что мы не менее интересны; видела Грейт-Ормонд-стрит, где вчера нашли мертвую девочку; видела и слышала, как Армия спасения превращает христианство в шоу для людей; весьма непривлекательные юноши и девушки сильно подначивают друг друга и много шутят, полагаю, чтобы оживить

действо; интересно, что они имеют в виду под «придите к Господу». Рискну заявить, что отчасти это эксгибиционизм; аплодисменты толпы; они побуждает мальчиков петь гимны, а продавцов близлежащих магазинов — заявлять во всеуслышание о своем спасенье. <…>

* * *

Ред-Лайон-сквер, то есть площадь Красного Льва, получила свое название в 1684 году по имени гостиницы «Красный лев», построенной Николасом Барбоном, экономистом, ученым-физиком и одновременно финансовым игроком, одним из первых апологетов свободного рынка. Свои экономические идеи он доказал на практике, скупив землю после Лондонского пожара и разбогатев. Прогрессивные идеи Барбон получил от отца, который назвал его при крещении удивительным именем *If-Jesus-Christ-had-not-died-for-thee-thou-hadst-been-damned* (Если бы Иисус Христос не умер за тебя, ты был бы проклят), – подобная практика существовала в XVII веке среди религиозных диссидентов. Согласно легенде, в яме

на площади Красного льва где-то захоронены тела трех убийц короля Карла I – Оливера Кромвеля, Джона Брэдшоу и Генри Айртона.

Уильям Моррис (1834–1896) – английский художник, поэт, прозаик, переводчик, издатель, социалист, теоретик искусства. После окончания Оксфорда Уильям Моррис и его друг Эдвард Коли Берн-Джонс в 1856–1858 годах делили комнаты и студию на Ред-Лайон-сквер, 17, где проходили встречи их круга, известного как братство прерафаэлитов.

Запись в Дневнике. 15 мая, среда. 1929 год

Но мне нужно как-то закончить свой рассказ о мелких сошках, спуститься к ужину и хоть чем-то порадовать Леонарда. Чем-то веселым. Полагаю, надо поработать над Прустом, а потом скопировать цитаты. Неважно, опробую свою новую ручку в действии и посмотрю, поднимет ли мне это настроение. Ибо очевидно, что все мои страдания — сущая ерунда, а в действительности я самая счастливая женщина во всем Центральном Лондоне. Самая счастливая жена, самая счастливая писательница, самая радостная жительница Тависток-сквер, как я говорю. Когда я подсчитываю свои радости, они явно перевешивают печали, даже с учетом того, что эти мелкие сошки мне уже поперек горла.

Запись в Дневнике. 28 марта, пятница. 1930 год

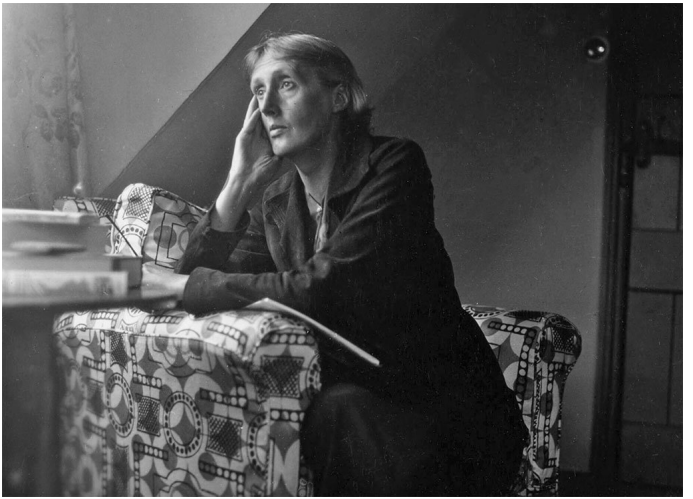
Прекрасный весенний день. Прогулялась по Оксфорд-стрит. Автобусы ходят с опозданием. Люди дерутся и борются за места. Толкаются на тротуаре. Старушки с непокрытой головой; автомобильная авария и т. д. Гулять в одиночестве по Лондону — величайший отдых.

* * *

Вирджиния Вулф уже была вполне опытной писательницей и критиком, когда британское издание *Good Housekeeping* (журнал издавался раз в два месяца, с декабря 1931 года) заказало ей серию статей под общим названием «Шесть статей о лондонской жизни» — потом сама Вирджиния назвала их «Лондонская сцена». Пешеходная экскурсия по любимому городу от Вирджинии Вулф начинается с Лондонских доков и сопровождается посещением нескольких знаковых мест по всему городу, в том числе торговой улицы Оксфорд-стрит, дома Джона Китса на Хэмпстед-Хит, дома Томаса Карлейля в Челси, собора Святого

Павла, Вестминстерского аббатства и зданий парламента. Хотя Вирджиния и жаловалась на скуку редактирования эссе, она явно получала удовольствие от описания любимого города, от возможности сосредоточиться на городском пейзаже — в романах он все-таки часто приносится в жертву переживаниям героев.

В этих эссе проявляются все удивительные достоинства Вирджинии-писателя — она исследует сознание людей через призму Лондона 1930-х годов, рисуя одновременно интимный, трогательный портрет мегаполиса и его очаровательных и забавных обитателей.



Вирджиния Вулф в кресле, 20 августа 1932 года

Лондон на сцене: шесть эссе о жизни Лондона (1931 год)
Эссе «Лондонские доки»

«Куда ты, о великолепный корабль?» — вопрошал поэт, лежа на берегу и глядя на огромный парусник, исчезающий за горизонтом. Возможно, воображал поэт, он направляется в какой-то порт в Тихом океане, но наступит день, когда корабль, услышав непреодолимый зов, через Норт-Форленд и Реклюверс войдет в узкие воды лондонского порта, проплывет вдоль низких берегов Грейвзэнда, Нортфлита и Тилбьюри, поднимется к Эрит-Рич и Баркинг-Рич, и Гэлионз-Рич, минует газовые заводы и канализационные коллекторы, пока, точно автомобиль на парковке, не отыщет предназначенное для него место в глубоких водах дока. Там он свернет паруса и бросит якорь.

Какими бы романтичными, свободолюбивыми ни покажутся эти корабли, в океанах едва ли найдется хоть один, который рано или поздно не бросит якорь в лондонском порту. Со спускающегося на воду корабля можно увидеть, как

они, еще не отмыв следы долгого морского путешествия, поднимаются вверх по Темзе. Скользят по воде многопалубные лайнеры: кормовые балконы, навесы, пассажиры, что, подхватив вещи, перегибаются через перила, в то время как кули, сбившись с ног, суетятся на берегу. Лайнеры приплыли домой, тысячи этих огромных кораблей каждую неделю, круглый год встают на якорь в лондонских доках. Как же степенно, не торопясь движутся они в толпе грузовых судов, угольщиков, груженых углем барж и качающихся на воде кораблей с красными парусами; хоть вид у этих парусников любительский, легкомысленный, они доставляют кирпич из Харриджа и цемент из Колчестера, ибо дело прежде всего, на этой реке нет места прогулочным шлюпкам и катерам. Словно подгоняемые неодолимым течением, лайнеры, молчаливые, одинокие, плывут, оставив позади морские штормы и штили, к предписанной им якорной стоянке. Двигатели замирают, паруса спущены. И тут, на фоне длинного ряда домов трудового люда, на фоне черных стен огромных складских помещений, вырастают никак с ними не сочетающиеся, ярко разукрашенные пароходные трубы и высокие мачты. На наших глазах происходит поразитель-

ная перемена. У лайнеров нет больше за спиной привычной перспективы моря и неба, нет того места, где они могли бы протянуть усталые члены, они стреножены, подобно порхающим крылатым существам, их ухватили за ногу, и они лежат теперь, пригвожденные к суше.

Когда мы вдыхаем соленый морской воздух, ничто так не поднимает настроение, как вид кораблей, идущих вверх по Темзе; кораблей больших и маленьких, видавших виды и сияющих новизной, кораблей из Индии, из России, из Южной Америки, кораблей из Австралии, что проплывают мимо нас, оставив за кормой безмолвие, и опасность, и одиночество; плывут они домой, в гавань. Но стоит им бросить якорь, стоит подъемным кранам начать поворачиваться в разные стороны, как вся романтика тут же исчезает. Если мы направимся мимо ставших на якорь судов в сторону Лондона, то нам откроется самое гнетущее зрелище на свете. Вдоль берега протянулись закопченные, обветшалые складские помещения. Они толпятся на земле, ставшей блеклой и вязкой от грязи. У всех у них, выстроенных как попало, одинаково заброшенный вид. Если здесь разбито окно, таким, разбитым, оно и останется. Одно из зданий, недавно почерневшее,

вспухшее от пожара, вид имеет ничуть не более заброшенный и безрадостный, чем стоящие с ним по соседству. За мачтами и трубами раскинулось угрюмое скопище неказистых, покосившихся домов-карликов, где перебиваются работающие в доках. А у самой воды стоят — чем не скелеты — подъемные краны, складские помещения в лесах и газомеры.

Когда, миновав неисчислимые акры этого бескрайнего запустения, проплываешь мимо вдруг не весть откуда возникшего старого каменного здания, стоящего на настоящем поле с настоящими деревьями, картина эта приводит в замешательство. Неужели здесь, на месте этого запустения и беспорядка, когда-то была земля, были поля, дававшие урожай? Кажется, что деревья и поля выжили по чистой случайности, как образчик другой цивилизации, затерявшейся среди бумажных и мыльных фабрик, которые подмяли под себя старые лужайки и террасы. Еще более несообразным выглядит старое, серое здание сельской церкви, где и сейчас еще бьют колокола и где на церковном кладбище до сих пор растет трава, как будто живущие за городом по сей день идут полем на службу. А вот гостиница: эркерные окна, вид до сих пор до странности

игривый, легкомысленный, в середине прошлого века гостиница эта слыла излюбленным местом любителей развлечений и считалась одной из самых часто упоминавшихся на бракоразводных процессах. Ныне здесь больше не развлекаются, здесь работают, и гостиница стоит брошенная, точно какая-нибудь красотка в ночном наряде, что смотрит из окна на заросшую грязью отмель и свечной заводик. А зловонная поверхность, на которую грузовики продолжают ссыпать все новые и новые груды свежей земли, полностью поглотила поля, где сто лет назад бродили, собирая фиалки, влюбленные.

Когда поднимаешься по реке в сторону Лондона, мусора становится все больше. Баржи, набитые прохудившимися ведрами, ржавыми лезвиями для бритв, рыбьими хвостами, старыми газетами и золой, да и всем тем, что мы оставляем у себя в тарелках и выбрасываем в мусорный ящик, вываливают этот груз на самую заброшенную землю на свете. От высоких насыпей поднимается в небо густой, терпкий, пропесоченный дым, в них разводятся сонмы крыс, на них растет прогорклая жесткая трава, от которой уже полвека исходит едкий, тошнотворный запах. Свалки становятся все выше и выше, все тучнее и тучнее, все более

отвесные по бокам от консервных банок, год от года все более рыхлые наверху. Но, минуя всю эту мерзость, словно ее не замечая, скользит по воде огромный, направляющийся в Индию лайнер. Он выходит в море, оставляя позади баржи с мусором, и баржи с нечистотами, и драгеры. А чуть дальше, по левую руку, нас вновь подстерегает неожиданный сюрприз, зрелище, которое сводит на нет все наши ожидания, — самые, кажется, величественные здания, когда-нибудь воздвигнутые рукой человека. Больница в Гринвиче со всеми ее колоннами и куполами плавно спускается к самой воде, отчего река вновь становится величавым водным путем, на берегу которого английская знать когда-то прохаживалась в свое удовольствие по зеленым лужайкам или спускалась по каменным ступенькам к прогулочным яхтам. Чем ближе Тауэр-бридж, тем больше город заявляет о себе, тем очевиднее вступает в свои права. Здания уплотняются, вздымаются все выше, все тяжелее, все пурпурнее становятся висящие в небе облака. Купола раздуваются, церковные шпили, белые от времени, смешиваются с конусообразными, напоминающими по форме карандаш фабричными трубами. Нарастает гулкий, мощный грохот Лондона. И тут, наконец, мы

спускается на берег, ступаем по древним камням, вступаем в грозный круг, туда, где столько раз били барабаны, где столько голов скатилось с плеч. Мы в лондонском Тауэре. Это — центр растянувшегося на многие мили запустения, средоточие муравьиной активности. Здесь гремит, разливается та грубая городская песня, что призывает с моря корабли и пригоняет их к пакгаузам, где они замирают, связанные по рукам и ногам.

Теперь, стоя на берегу, мы заглядываем в самое сердце корабля, которого оторвали от странствий по морям, соблазнив сушей, твердой землей. Пассажиры и их пожитки исчезли, не стало и матросов. Теперь за дело взялись неутомимые краны, они опускаются и поворачиваются, поворачиваются и опускаются. Бочки, мешки, клети изымаются из трюма и по очереди переправляются на берег. Ритмично, споро, в том порядке, от которого получаешь эстетическое наслаждение. На бочку опускается бочка, на контейнер — контейнер, на ящик — еще один ящик, один за другим, один на другой, один рядом с другим. По проходам и коридорам гигантских, незамысловатых, ничем не украшенных пакгаузов и лабазов с низкими потолками неустанно двигаются люди и товары. Лесоматериалы, железо, зерно, вино,

сахар, бумага, растительное масло, фрукты — все, что корабль вывез из долин, лесов, с пастбищ со всего света, здесь извлекается из трюма и ставится на место. Тысячи кораблей с тысячью грузов разгружаются здесь каждую неделю. Каждый груз из этого обширного и разнообразного товарооборота не только изымается из трюма корабля и аккуратно ставится на место — он еще взвешивается, и открывается, и сортируется, и записывается, после чего вновь закрывается и только тогда переносится в нужное место. И все это безо всякой спешки, без всякого беспорядка делают всего несколько человек в рубашках с закатанными рукавами. Работают они споро, организованно и в общих интересах, ибо поставщика не проведешь, он своего не упустит. Работают на совесть, однако могут прерваться и сказать случайному посетителю: «Хотите посмотреть, что мы, бывает, находим в мешках с корицей? Взгляните на эту змею!»

Змея, скорпион, жук, кусок янтаря, бивень слона, ртуть — какие только самые невероятные вещи не оказывались среди привезенных товаров и не извлекались на поверхность! Работающие в доках не лишены любопытства, однако подход здесь в целом сугубо утилитарный. Да,

причудливые, красивые, диковинные вещицы попадаются, но в этом случае незамедлительно устанавливается их коммерческая стоимость. На полу, рядом с бивнями слона, лежит груда других бивней, они больше и темнее остальных. И цвет этот не случаен, ведь это бивни мамонтов, которые пролежали замороженными в сибирских льдах пятьдесят тысяч лет. Впрочем, эксперт по слоновой кости этой цифрой не обольщается: слоновая кость мамонта может деформироваться, и бильярдных шаров из нее не сделаешь, в лучшем случае — ручки от зонтиков и дешевых ручных зеркальцев. Поэтому если вы покупаете недорогой зонтик или зеркальце не самого высокого качества, то, очень может быть, вы приобрели бивень зверя, который бродил по азиатским лесам во времена, когда Англия еще не была островом.

Из одного бивня можно сделать бильярдный шар, другой годится для изготовления рожка для обуви, каждая вещь исследуется и сортируется в соответствии с ее практической надобностью и ценностью. Нет пределов изобретательности и неутомимости коммерции. На земле нет ни одной вещи, в том числе и идущей в отходы, которая бы не подвергалась испытанию, проверке ее практической пользы. Тюки с шерстью, которые

извлекаются из трюма австралийского корабля, обхватывают из экономии места железными обручами, но пол в пакгаузе этими обручами не завален, обручи отправляются в Германию, где из них делают безопасные бритвы. Шерсть как таковая выделает густой жир. Жир этот вреден для одеял и в виде экстракта используется при изготовлении крема для лица. Пригодными оказываются даже заусенцы, которые застревают в шерсти некторых пород овец, так как наличие заусенцев свидетельствует о том, что овцы кормились на богатых пастбищах. И заусенцы, и пучок шерсти, и железный обруч — в дело идет все. И пригодность вещи, и предусмотрительность, с которой она используется, создает, словно невзначай, красоту, о которой никому в доках нет никакого дела. Склад идеально продуман как склад, кран — как кран; это и есть красота. Краны наклоняются и вертятся, и в их движениях есть ритм. Стенки склада раздвигаются, чтобы принять мешки и бочки, за этими стенами виднеются лондонские крыши, мачты и шпили, а еще — непроизвольные, спорые движения людей, переносящих грузы и разгружающих трюмы. Оттого, что бочки с вином следует держать не стоймя, а на боку, в прохладных погребах, поне-

воле любуешься вдобавок ко всему еще и тайной тусклого света, и красотой низких подвальных сводов.

В винных погребах есть что-то необычайно торжественное. Раздвигая деревянные стенки, к которым приделаны лампы, мы осматриваемся. Перед нами протянулся длинный ряд бочек, мы словно бы окунулись в медленно и грозно сгущающуюся жреческую атмосферу необъятного собора. Когда мы идем с фонарями сначала по одному проходу, потом по-другому, то воображаем себя не дегустаторами или работниками таможни, а священнослужителями, что поклоняются какой-то бессловесной религии. Впереди бежит желтая кошка, в остальном живая жизнь в подвалах напрочь отсутствует. Здесь, один подле другого, лежат предметы нашего поклонения, одни бочки пузырятся от сладкого ликера, другие, если открыть пробку, брызнут струей красного вина. Здесь, в подвалах, винный дух отдает благовонием. То тут, то там ярко вспыхивает, освещая проход за проходом, сноп света, и вовсе не для того, чтобы было светло или чтобы лицезреть красоту зеленых и серых сводов, а по очень простой причине: для того, чтобы вино было выдержанным, нужно очень много тепла.

Красота — побочный продукт пользы. На низких сводах видны похожие на вату наросты, это грибы, но какие они, хорошие или плохие, значения не имеет; нужны они как свидетельство того, что сырость в помещении такая, какая необходима для здоровья драгоценной влаги.



Вирджиния Вулф, 1934 год

Даже английский язык приспособился к нуждам коммерции, слова как будто вернули себе свой исконный смысл. Напрасно искать в словаре складское значение таких слов, как *valinch, shrive, shirt* и *flogger*, но в пакгаузах к этим значениям давно привыкли, они у всех работающих на складах на кончике языка. Точно так же понадобились годы испытаний и экспериментов, чтобы затычка на бочке открывалась от легких ударов по ней с двух сторон. Что может быть быстрее, эффективнее! Нет предела сообразительности.

Единственное, что способно изменить привычную жизнь доков, — это перемена в нас самих. Предположим, что мы перестаем пить бордо или для изготовления одеял вместо шерсти стали пользоваться резиной. Тогда весь механизм производства и доставки товаров даст сбой и начнет приспосабливаться к новым веяниям. Это мы — наши вкусы, наши моды, наши нужды — заставляем краны опускаться и поворачиваться, это мы швартуем пришедшие из далеких морей корабли. Их хозяин — мы, наше тело. Нам нужны обувь, меха, сумки, кухонные плиты, растительное масло, пуддинги, свечи — и все это нам исправно доставляется. Коммерция с тревогой за

нами наблюдает: нет ли у нас новых желаний, не разонравилось ли нам что-то. Мы чувствуем себя важным, сложным, всем нужным существом, когда стоим на набережной и смотрим, как краны поднимают из трюмов вставших на якорь кораблей эту бочку, и вот эту клеть, и еще один тюк. Бочки виргинского табака доставляют на берег только потому, что кому-то из нас вздумалось закурить сигарету. Целые стада австралийских овец стригут только потому, что зимой нам не обойтись без шерстяных курток. Что же касается зонтика, которым мы беззаботно помахиваем, то на его ручку пожертвовал свой бивень мамонт, который с ревом носился по болотам пятьдесят тысяч лет тому назад.

Тем временем корабль под флагом отплытия медленно, степенно выходит из доков, он вновь пускается в путь, держит курс на Индию или на Австралию. А тем временем в лондонском порту, на узкой, ведущей к докам улочке, теснятся, обгоняя друг друга, грузовики: еще бы, ведь идет огромная распродажа, и запряженные в телеги лошади несутся со всех ног, чтобы обеспечить шерстью всю Англию.

* * *

Вирджиния явно не просто так начала это эссе поэтической строчкой своего современника, поэта Роберта Бриджеса, бывшего мишенью для подшучиваний интеллектуалов: его стихи, при весьма банальном и традиционном содержании, отличались поразительным мастерством оформления и поэтому были весьма популярны у обывателей. Эссе Вирджинии — тоже поэма, поэма о лондонских доках, о неустанном труде столицы огромной морской Империи, о романтике дальних странствий и одновременно о поэтике обыденности, о том, из каких мелочей складывается то самое величие. Недаром она упоминает и Фортленд — место сражения за торговые пути во время англо-голландской войны в 1666 году между английским и голландским флотами. Англичане одержали полную победу, захватив или уничтожив 20 кораблей, а большинство голландцев были убиты или утонули.

Как и в любом языке, в английском тоже есть свои производственные термины: так, *valinch* — это особое устройство для дегустации виски прямо из бочки, происходит от французского слова *avaler* (глотать) и представляет собой длинную

медную трубку, которую вставляют в специальное отверстие в бочке. *Shrive* — нечто вроде ускоренного процесса исповеди и отпущения грехов в море: искаженный латинский глагол *scribere* (писать), обозначающий «мало или вообще не обращать внимания», то есть отпустить грехи не глядя; *shirt* — что-то типа рубахи моряка, а *flogger* — просто плетка: как без этих вещей обойтись в морской торговле, на теневом флоте, в сражениях с пиратами?

Эссе «Оксфорд-стрит. Прилив»

В доках все смотрится грубым, массивным, тяжеловесным. Здесь же, на Оксфорд-стрит, — воздушным и преображенным. Сырой табак в неподъемных бочках превратился в бессчетное число свернутых в папиросную бумагу изящных сигарет. Из шерсти в тучных тюках вяжутся тонкие жакеты и мягкие чулки. Жир, что вытапливается из толстой овечьей шерсти, становится ароматным кремом для нежной кожи. Та же метаморфоза происходит с теми, кто покупает, и с теми, кто продает. С трудом переводя дух, сбиваясь с ног, люди в черных сюртуках и в атласных платьях сумели приспособиться к этой суете ничуть не хуже животных. Теперь, вместо того чтобы поднимать груз, тащить его на себе, они научились сноровисто открывать ящики, вываливать на прилавок шелковую тесьму, управляться с измерительной линейкой и ножницами.

Оксфорд-стрит, спору нет, не отнесешь к самым примечательным лондонским магистралям. Хорошо известно, что моралисты имеют обыкновение с презрением указывать пальцем на тех,

кто делает здесь покупки. И модники с моралистами заодно. У моды есть свои заповедные места неподалеку от Ганновер-сквер, в районе Бонд-стрит, куда она втихомолку удаляется совершать свои торжественные обряды. На Оксфорд-стрит слишком много сделок, слишком много распродаж, слишком много товаров стоимостью один шиллинг и три пенса. А ведь еще неделю назад товар этот стоил чуть ли не вдвое дороже. Здешние покупатели и продавцы надрывают глотки, от них слишком много шума и суеты. Но если прогуливаешься по Оксфорд-стрит на закате — а солнце здесь то ли из-за искусственного света, то ли из-за гор шелка, то ли из-за сверкающих омнибусов закатывается за Марбл-Арч денно и нощно, — безвкусице, кричащим цветам, протянувшимся нескончаемой лентой по Оксфорд-стрит, не откажешь в своеобразном очаровании. Чем не каменистое ложе реки, где галька вымывается быстрым течением? Все здесь сверкает и блестит. Первый день весны знаменуется появлением тележек с разложенными на них, играющими красками тюльпанами, фиалками, нарциссами. Точно хрупкое суденышко, тележки эти подхватывает и несет за собой неудержимый транспортный поток. В руках стоящих на углу в

поношенной одежде чародеев обрывки цветной бумаги превращаются у вас на глазах в ощетинившиеся заросли таинственных подводных садов. На другом углу, на подстилках из травы, отдыхают черепахи. Самые медленные и самые вдумчивые из живых существ, они под бдительной охраной своих владельцев передвигаются на фут-другой по тротуару. Тяга человека к черепахе, как тяга мотылька к звезде, свойственна нашей природе. И тем не менее нет на свете ничего более невероятного, чем вид женщины, которая останавливается, подбирает черепаху с земли и опускает ее в сумку с другими покупками.

Если принять все это во внимание (аукционисты, тележки, дешевизна, безвкусица), то про Оксфорд-стрит никогда не скажешь, что в ней есть нечто утонченное. Это место, где ежеминутно рождаются сенсации, плодятся неслыханные трагедии: разводы актрис, самоубийства миллионеров происходят здесь с частотой, неведомой в других, более аскетичных городских кварталах. Новости сменяют одна другую быстрее, чем в любой другой части города. Густые толпы идущих по Оксфорд-стрит словно бы слизывают надписи на афишах, поглощают их в огромных количествах и настойчивее, чем где-нибудь еще,

требуют свежих, самых горячих новостей, самых последних выпусков газет. Наш ум превращается в жадную, охочую до впечатлений пасть, и Оксфорд-стрит исправно насыщает нас неустанным потоком меняющихся зрелищ, звуков, передвижений. Свертки бьют по ногам, автомобили наезжают на тротуар, оглушительный грохот духового оркестра в мгновение ока превращается в едва слышный мышиный писк. Автобусы, автофургоны, автомобили, тачки, проносясь мимо, напоминают видоизменяющиеся фрагменты огромного пазла. Белая рука поднимается, пазл замирает, сворачивается, застывает. Белая рука опускается, и поток устремляется дальше с прежней скоростью, так же беспорядочно, так же хаотично, как и раньше. И пазл, сколько на него ни смотри, никогда не сложится, не примет окончательный вид.

На берегах этой многоколесой, бурной реки наши современные аристократы воздвигли себе дворцы точно так же, как в давние времена герцоги Сомерсетские и Нортумберлендские, графы Дорсетские и Сейлсберийские выстроили на Стрэнде свои величественные особняки. Многоликие солидные торговые дома свидетельствуют о дерзости, инициативности, непреклонности

своих владельцев точно так же, как огромные дома Кавендишей и Перси свидетельствуют о том же самом в каких-нибудь далеких графствах. Из чресел наших предпринимателей выходят на свет Кавендиши и Перси будущего. И то сказать, великие лорды Оксфорд-стрит ничуть не менее великодушны, чем любой герцог или граф, который некогда бросал беднякам, стоявшим у его ворот, золотые монеты или раздавал им хлеб. Вот только щедрость стала теперь другой. Теперь она выражается не в хлебе и в золотых монетах, а во впечатлениях, развлечениях, в залитых вечером ослепительным светом витринах, в знаменах, развевающихся днем на ветру. Эта щедрость обеспечивает нас последними новостями, которые ничего нам не стоят. Музыка в этих новостях бесплатно льется из окон домов, где пируют сильные мира сего. Вам не придется платить больше одного шиллинга и трех пенсов, чтобы насладиться уютом этих просторных, полных воздуха залов, мягкими коврами, в которых утопает нога, роскошью лифтов, красотой пестрых тканей. Перси и Кавендиши при всем желании не могли бы дать нам больше. Разумеется, у этих даров есть цель: по возможности незаметно извлечь из наших карманов один шиллинг и три пенса — но

ведь Перси и Кавендиши также не проявляли бы такой щедрости, не надеясь они на некоторую компенсацию, будь то посвящение поэта или голос фермера на выборах. В результате и старые лорды, и новые существенно украсили нам с вами жизнь.

В то же время не подлежит сомнению: возведенные на Оксфорд-стрит дворцы — строения довольно хрупкие, недолговечные, это скорее местонахождение, чем местожительство. Возникает чувство, что идешь опушкой леса, выложенного стальными несущими конструкциями, и что внешняя стена при всей ее вычурной каменной тяжеловесности рассыплется от дуновения ветра. Ткните в нее кончиком зонтика — и вы нанесете ей непоправимый ущерб. Многие сельские коттеджи, где при королеве Елизавете жили фермеры или мельники, будут стоять, как стояли, когда от этих дворцов не останется и следа. Стены этих старых коттеджей с их дубовыми брусьями и надежной кирпичной кладкой и по сей день оказывают стойкое сопротивление дрелям и сверлам, которые стремятся приобщить их к благословенной эре электричества. Тогда как не проходит и дня, чтобы не видеть, как Оксфорд-стрит исчезает под ударами кирки рабочего,

балансирующего на пыльном бельведере, как будто ее стены и фасады из картона или сахарной глазури.

Но моралисты и тут с презрением поднимут указующий перст. Ибо, говорят они, не свидетельствует ли такой, словно сделанный из бумаги камень, или рассыпающийся, словно пудра, кирпич о ветрености, хвастовстве нашего века, его опрометчивости и безответственности? С тем же успехом мы могли бы требовать от лилии, чтобы она была отлита в бронзе, или от маргаритки, чтобы ее лепестки покрыты были не подверженной порче эмалью. Обаяние современного Лондона в том и состоит, что строится он не на вечные времена, а чтобы вечно видоизменяться; его хрупкость, его прозрачность, его набегающие волны разноцветной штукатурки доставляют совсем другое удовольствие, чем то, которое доставляли, совсем другую цель, чем ту, которую преследовали давние строители и их заказчики — английская знать. Аристократы гордились иллюзией постоянства, мы же получаем удовольствие от того, что можем делать камень или кирпич такими же преходящими, такими же недолговечными, как наши желания. Мы строим не для наших потомков: они, может статься, бу-

дут витать в облаках или, наоборот, жить земной жизнью; мы строим для себя, для наших собственных нужд. Мы разрушаем и переделываем, ибо ждем, что разрушать и переделывать будут и нас с вами тоже. И в этом импульс творчества, залог изобилия. Стимул открытий и изобретательности, которая да пребудет.

Оксфорд-стрит пренебрегает тем, что устраивало греков, елизаветинцев, дворянство восемнадцатого столетия. Она убеждена, что если на ней не будет домов, которые представят в выгодном свете дорожный несессер, короткие платья из Парижа, дешевые чулки и банку ароматизированной соли для ванны; если у нее не будет особняков, автомобилей и небольших коттеджей где-нибудь в Кройдоне или в Сербитоне, где живут продавцы из их магазинов, и живут неплохо, с проигрывателем, радиоприемником и карманными деньгами на билет в кино, — то все это в одночасье рухнет. Вот почему Оксфорд-стрит возводит фантастические каменные сооружения, в которых в полной сумятице, как придется смешиваются стиль Греции, Египта, Италии, Америки. Вот почему она изо всех сил пытается произвести впечатление расточительности, благосостояния, стремится убедить большинство, что здесь,

словно из неисчерпаемого колодца, каждый день бьет ключом нескончаемая красота — всегда бросающаяся в глаза, всегда новая, очень дешевая и всегда всем доступная. Одна лишь мысль о возрасте, прочности, солидности, о постоянстве ненавистна Оксфорд-стрит.

Так вот, если моралист сподобится выбрать для послеобеденной прогулки именно эту лондонскую улицу, пусть он напряжет слух, чтобы до него донеслись какие-то странные, несообразные голоса. Шум автофургонов и омнибусов тонет в горьких стенаниях. Один только Бог знает, жалуется продавец черепах, как у меня болит рука, а ведь шансы продать черепаху невелики, но не станем отчаиваться, покупатель, может, еще найдется, и тогда мне хватит денег переночевать, а потому опять буду, потихоньку от полиции, носить черепах по Оксфорд-стрит с рассвета до заката. Имейте в виду, говорит крупный предприниматель, воспитывать в массах эстетическое чутье в мои планы не входит, для меня главное найти для товара место подешевле и повыгоднее. Зеленые драконы на коринфских колоннах могут пригодиться, надо будет попробовать. Да, говорит женщина среднего достатка, признаю, я оборотиста, смотрю по сторонам, покупаю и

продаю, снижаю, снижаю цену, пока всё не продам. Я знаю, какой у меня нехороший блеск в глазах, купленное я хватаю с отвратительной жадностью. Но ведь мой муж — мелкий клерк в банке, одеваюсь я всего-то на пятнадцать фунтов в год, вот и хожу сюда, осматриваюсь, приодеться стараюсь не хуже соседей. Я — воровка, говорит женщина этой благородной профессии, а еще собой подрабатываю. Не всякий может, как я, умыкнуть с прилавка сумку, когда покупатель отвернулся, а ведь в сумке, бывает, кроме очков да просроченных автобусных билетов ничего нет. Так и живем!



Вирджиния Вулф, 1935 год

Тысячи подобных голосов в любое время громко стенают на Оксфорд-стрит. Все они грубые, все они самые настоящие и все они вызваны необходимостью прокормиться, обрести крышу над головой, не пойти на дно в бурном, беззаботном, безжалостном потоке этой улицы. И даже моралист, у которого, скорее всего, лежит в банке круглая сумма, раз он может себе позволить предаться размышлениям во время послеобеденной прогулки, — даже он согласится, что эта безвкусная, суматошная, вульгарная улица напоминает нам о том, что жизнь — это борьба. Что все построенное не сегодня-завтра рухнет, что все показное — это тщеславие. Из чего мы можем сделать вывод — но не раньше, чем какой-нибудь предприимчивый торговец придумает открыть специальные камеры для одиноких мечтателей за зелеными плюшевыми занавесками с автоматическими жуками-светляками и бабочками «мертвая голова», призванными побудить нас к мыслям и мечтаниям; из чего мы можем сделать вывод, что на Оксфорд-стрит делать выводы тщетно.

* * *

Оксфорд-стрит, одна из самых известных лондонских улиц, центр, куда стекаются толпы туристов и горожан за покупками, развлечениями и просто чтобы поглазеть на лондонскую жизнь, стала второй лондонской темой Вулф – полной противоположностью эссе о доках. Доки – квинтэссенция труда, Оксфорд-стрит – праздности. Оксфорд-стрит – главная улица в Вестминстере, в Вест-Энде, она проходит по южной границе Сохо и Мэйфэра и считается самой оживленной торговой улицей Европы. Белая мраморная арка XIX века была построена как парадные ворота в Букингемский дворец, теперь стоит в начале Оксфорд-стрит. Это одна из древнейших улиц Лондона – начиналась она с Виа Тринобантина, римской дороги, соединявшей Эссекс и Хэмпшир через Лондон. В Средние века в месте рядом с Мраморной аркой находилась виселица – место публичной казни с 1388 по 1783 год, – Оксфорд-стрит видела всякое. В XVIII веке окружающие поля

были выкуплены графом Оксфордом, и улица начала активно застраиваться, стала местом общественных развлечений типа травли медведей, театров и публичных домов, а к концу века превратилась в торговую улицу – за красивыми стеклянными витринами покупателей зазывали фрукты, китайский чай, фарфор, шелк, серебро. В 1896 году была проложена первая линия Лондонского метро. Во время Второй мировой войны Оксфорд-стрит нещадно бомбили – Джордж Оруэлл записал в своем дневнике 24 сентября 1940 года, что Оксфорд-стрит была «полностью пуста, на ней было всего несколько пешеходов» и он видел «бесчисленные осколки разбитого стекла». В глазах Вирджинии Вулф Оксфорд-стрит – это еще и улица, олицетворяющая современность, в то время как стоящие на ней дома аристократических семейств – привет из уходящего прямо на глазах прошлого.

Семья **Кавендишей** была тесно связана со многими аристократическими домами Великобритании, ее история насчитывает около восьми веков и восходит к эпохе

норманнов. В этой семье, между прочим, родился **Генри Кавендиш** (1731–1810), известный физик, – он занимался синтезом воды из кислорода и водорода и ранее Шарля Огюста де Кулона установил закон взаимодействия электрических зарядов, рассчитал среднюю плотность и массу Земли, провел важный опыт с плотностью Земли, позволивший рассчитать гравитационную постоянную, – принес много пользы всему человечеству.

Эссе «Дома великих людей»

В Лондоне, по счастью, нет недостатка в домах, где жили великие люди. В этих домах, выкупленных государством, все сохранилось так, как было при их жизни: стулья, на которых они сидели, чашки, из которых пили; сохранились их зонтики и их комоды. В дом Диккенса, и в дом Джонсона, и в дом Карлейля, и в дом Китса нас влечет не из пустого любопытства. Великих людей мы узнаем по их домам, ведь хорошо известно, что характер писателя проявляется в его вещах в большей степени, чем характер любого другого человека. У писателя может отсутствовать вкус, но наделен он куда более редким и более любопытным даром — умением устроить свой дом — стол, стул, занавески, ковер — по своему образу и подобию.

Взять, к примеру, Карлейлей. Проведя всего час в их доме на Чейн-Роу, 5, про их жизнь мы узнаём больше, чем из всех биографий, вместе взятых. Спустимся в кухню. Там мы сразу же увидим то, на что не обратил внимание Фруд и что, однако, имеет немаловажное значение: в доме Карлейлей не было водопровода. Каждую каплю воды, которой пользовались Карлейли (шотландцы,

они были помешаны на чистоте), приходилось качать вручную из колодца на кухне. Да, на кухне имелся колодец, и насос, и каменное корыто, куда стекала тонкой струйкой вода. Здесь же находилась и тяжелая решетка, на которую, если хозяева хотели принять горячую ванну, ставили кипятиться чайники. Была ванна желтой, в трещинах, из олова, очень глубокой и очень узкой, горячую воду наливали в нее из ведра. Воду служанке приходилось сначала качать из колодца, потом кипятить, а потом тащить наверх из подвала три лестничных пролета.

Высокий старый дом, без воды, без электрического света, без газовой плиты, дом, где нечем было дышать от книг и угольной копоти, дом с кроватями с пологом и буфетами красного дерева, где год за годом жили самые беспокойные и взыскательные люди своего времени, обслуживался одной несчастной служанкой. На протяжении всего викторианского века дом этот был полем сражения, где каждодневно, зимой и летом, хозяйка и служанка сражались с грязью и холодом за чистоту и тепло. Кажется, что по ступенькам широкой, величественной лестницы и сейчас тащат наверх ведра с водой эти изнуренные женщины. Кажется, что в высоких, обшитых

панелями комнатах по сей день отзываются эхом вздохи качающего воду насоса и глухой стук щетки об пол. Голос у этого дома — а голоса есть у всех домов — это голос насоса, щетки, кашля и стона. В то самое время когда на чердаке, под самым потолком, сидя на стуле из конского волоса, борясь со своими историческими трудами, стонал Карлейль, желтый сноп лондонского света падал на его бумаги, а повизгивание шарманки и сиплые крики уличных торговцев проникали в комнату, чьи толстые стены искажали, но ни в коей мере не заглушали звуки музыки. Время года у этого дома — а у каждого дома свое время года — это всегда февраль, месяц, когда улицы скованы холодом и туманом, полыхают факелы и за окнами, прежде чем замереть вдали, громыхают колеса. Год за годом, февраль за февралем лежит, кашляя в своей большой кровати с пологом бордового цвета, где она родилась, миссис Карлейль, и, когда она кашляет, перед ее мысленным взором проходят нескончаемые заботы, идет нескончаемая битва с грязью и холодом. Диван из конского волоса надо перелицевать, обои в мелкий темный цветочек — почистить, желтый лак на панелях потрескался и облез… И если не она, то кто же пришьет, почистит, уберет? Не она ли

извела клопов, которым не было числа в старых, рассохшихся деревянных панелях? Долгие часы бессонной ночи миновали, и она слышит, как в комнате над ней ворочается мистер Карлейль. Встала ли уже Хэлен, думает она, разожгла ли камин, согрела ли воду ему для бритья? Наступил еще один день, и все начинается сызнова: надо качать воду, скрести полы.

Вот почему дом на Чейн-Роу, 5, — это не столько жилое помещение, сколько поле боя. Место, где трудятся, не жалея себя, пребывают в постоянной борьбе. Немногие трофеи в этом бою — отвоеванные милости и радости — дожили до сегодняшнего дня, чтобы мы знали: бой этот стоил потраченных сил. Реликвии в гостиной и в кабинете подобны реликвиям, присвоенным на других полях сражений. Вот упаковка стальных перьев, вот сломанная глиняная трубка, ручка для пера — такой пользуются школьники; несколько белых с золотом фарфоровых чашек с обитыми краями, диван из конского волоса и желтая оловянная ванна. Хранится здесь и слепок худой, натруженной руки, а еще маска с измученного, одухотворенного лица Карлейля, маска слеплена, когда жизнь его подошла к концу, и он, мертвый, лежал здесь. Даже сад позади дома

кажется не местом отдыха и покоя, а еще одним полем сражения, только поменьше, с могильным камнем, под которым похоронена собака. Вечером те, кто утром качал воду из колодца и подметал полы, конечно же, празднуют победу. Со своего портрета глядит на нас миссис Карлейль: красивое шелковое платье, сидит на стуле у пылающего камина, вид серьезный, благопристойный. Да, но какой ценой? Чего это ей стоило? Щеки ввалились, в глазах горечь и страдания сочетаются с нежностью и затравленностью. А всему виной насос в подвале и желтая ванна на высоте трех лестничных пролетов. И муж, и жена были гениями, они любили друг друга — но разве может гений и любовь справиться с клопами, оловянными ваннами и насосом в подвале?

Не подлежит сомнению: Карлейли избежали бы и половины размолвок, и их совместная жизнь сложилась бы куда лучше, если бы в доме по адресу Чейн-Роу, 5 имелись, как выражаются торговцы недвижимостью, вода х. и г., газовое отопление в спальнях, все современные удобства, в-д и к-ция. Но ведь — размышляли мы, переступая через истертый порог, — Карлейль с горячей водой и водопроводом не был бы Карлейлем; да и миссис Карлейль, не борись она с клопами, была

бы совсем не той женщиной, которую мы знаем.

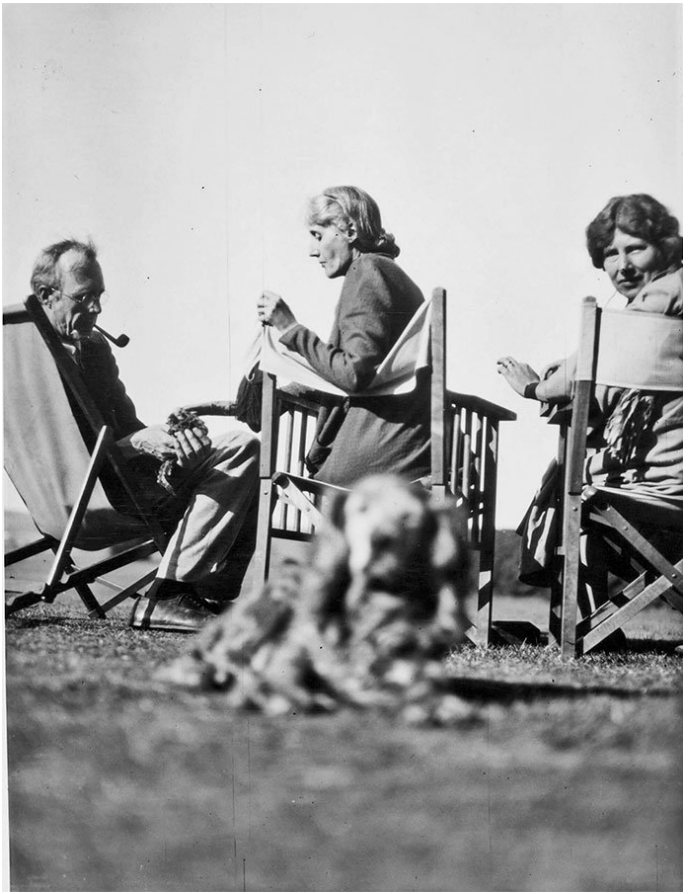
Кажется, что целая эпоха отделяет дом в Челси, где жили Карлейли, от дома в Хэмпстеде, в котором Китс и Браун жили вместе с Бронами. Если у домов и в самом деле есть свои голоса и свои времена года, то в Хэмпстеде всегда весна — так же, как на Чейн-Роу всегда февраль. И еще одно чудо: Хэмпстед никогда не был пригородом или памятником древности, поглощенным современным миром, — это место с присущим только ему характером. Здесь не делают деньги, сюда не едут их тратить. Хэмпстед — синоним отрешенности, уединения. Дома здесь небольшие, аккуратные, такие, как на побережье в Брайтоне, с эркерами, балконами и шезлонгами на верандах. В Хэмпстеде есть свой стиль, свой смысл, он предназначен для людей скромного достатка, у которых есть свободное время и желание вести размеренную, досужую жизнь. Цвета Хэмпстеда — бледно-розовый и голубой, что, казалось бы, созвучно голубому морю и белому песку, и в то же время в его стиле ощущается урбанистичность — верный признак того, что поблизости раскинулся огромный город. Вместе с тем даже в двадцатом веке от Хэмпстеда веет безмятежностью пригорода. Его окна с эркером по-прежнему

выходят на долины, и на деревья, и на пруды; вот с лаем бегут собаки, а вот, держась за руки, гуляют влюбленные, останавливаются здесь, на вершине холма, бросить взгляд на далекие купола и шпили Лондона — точно так же гуляли они, останавливались и смотрели, когда здесь жил Китс. Да, Китс жил здесь, в проулке, в маленьком белом доме за деревянным палисадом. С тех пор мало что изменилось, однако же, когда мы входим в дом, где жил Китс, на сад словно бы ложится какая-то мрачная тень. Дерево упало, лежит прислоненное к забору. И в те времена здесь было весело и безмятежно; здесь, как и тогда, пел соловей. И здесь, как нигде больше, нашли себе приют лихорадка и тоска, они разгуливают по этому маленькому, в зелени участку и навевают тяжелое чувство скорой смерти, и быстротечности жизни, и страстной любви, и любовных мук.

И все же, если Китс и наложил отпечаток на этот дом, то это не отпечаток тоски и лихорадки, а ясности и достоинства — следствие порядка и самообладания. Комнаты небольшие, но уютные, высокие окна доходят до самого пола, и кажется, будто половина стены залита светом. У окна, друг напротив друга, стоят два стула, как будто кто-то, сидевший здесь с книгой, только что

встал и вышел из комнаты. Когда листья за окном шевелились от ветерка, по лицу читавшего разбегались, словно брызгами, солнечные блики и тени. У его ног, должно быть, скакали птицы. В комнате всего-то два стула, и то сказать, у Китса было мало вещей, мало мебели, да и книг, по его словам, и полторы сотни не наберется. Наверно, поэтому комнаты пустуют и обставлены скорее светом и тенью, чем стульями и столами. Наверно поэтому здесь, где жило столько людей, о людях думаешь меньше всего. В воображении не возникают сцены из жизни: не приходит в голову, что здесь, должно быть, ели и пили, люди входили и выходили, ставили на пол чемоданы, оставляли свертки. Жившие здесь, должно быть, мели пол и наводили порядок, сражались с грязью и пылью и носили воду ведрами из подвала в спальню. Жизнь остановилась. Голос дома — это голос листьев, шуршащих на ветру, веток, раскачивающихся в саду. Здесь присутствует только один человек — сам Китс. Но даже и он, хотя его портреты висят на каждой стене, входит сюда молча, бестелесно, в снопе яркого света. Здесь он сидел на стуле у окна и слушал не двигаясь, и смотрел не шевелясь, и медленно, неторопливо листал страницы, а ведь жить ему оставалось

совсем недолго.



Эдриан Стивен, Вирджиния Вулф и Карин Сти-

вен сидят с собакой, 1934 год

От дома веет непреклонной невозмутимостью, и это несмотря на маски смерти, и хрупкие желтые венки, и прочие жуткие приметы, которые напоминают нам: Китс умер молодым, безвестным и в изгнании. А за окном жизнь продолжается. Откуда-то издалека, заглушая шум листвы и тишину, слышен стук колес, лай собак, которые приносят хозяевам палки из пруда. Продолжается жизнь и за деревянным палисадом. Мы закрываем за собой калитку, за которой остаются трава, и дерево, и пение соловья, и обнаруживаем, конечно же, мясника: из своей красной малолитражки он несет мясо в дом по соседству. Если мы перейдем дорогу (и если нас не собьет какой-нибудь лихач: по этим широким улицам ездят на большой скорости), то окажемся на вершине холма и внизу под ним увидим весь Лондон. Вид этот незабываем в любой час и в любое время года. Нам предстанет Лондон весь, целиком, Лондон как на ладони, с его огромными куполами и величественными соборами, его трубами и шпилями, его кранами и газомерами; его вечным дымом, который валит в небо и весной, и осенью. Там, внизу, Лондон простирается с незапамятных времен, все глубже и глубже вгры-

зается он в этот кусок земли, присваивает себе все больше и больше пространства, оставляет на нем неизгладимые шрамы. Вот он: лежит слоями, пластами, с ощетинившимися вершинами, теряющимися в клубах дыма. Открывается вид на природу и с Парламентских холмов. Там, вдали, в поросших лесом горах распевают птицы и, в мертвой тишине подняв лапу, чутко прислушиваясь к шуршащим листьям, застывает на мгновение горностай или кролик. Посмотреть на Лондон оттуда приходил Китс, и Кольридж, а может, и Шекспир. И там, в эту самую минуту, ничем не примечательный молодой человек садился на железную скамейку и заключал в объятия ничем не примечательную молодую женщину.

* * *

Веселое, остроумное эссе про не самых широко известных писателей — настоящая ода радости жизни в Лондоне, обычной жизни, не омраченной бесконечной борьбой за идеалы и демонстративным страданием «за народ».

Томас Карлейль (1795–1881) британский писатель, публицист, историк и философ, автор исторических книг «Ге-

рои, почитание героев и героическое в истории», «История жизни Фридриха II Прусского» (1858–1865). Он исповедовал романтический, но не очень гуманный «культ героев» и считал, что посредством героев исполняется божественное предначертание, они якобы направляют человечество в будущее.

Джон Китс (1795–1821) – известный английский романтический поэт. Чарльз Армитидж Браун был его близким другом, художником и интеллектуальным спутником, а Фрэнсис «Фанни» Брон Линдон (1800–1865) – невестой и музой Китса, она познакомилась с ним, когда он был ее соседом по Хэмпстеду. Увы, помолвка закончилась ничем – Китс умер от чахотки. Тем не менее Фанни Брон успела оказать на него и его творчество значительное влияние. Именно ей он адресовал очень трогательные строки: «Милая моя девочка! Ничто в мире не могло одарить меня большим наслаждением, чем твое письмо, разве что ты сама», – она стала символом нежности и красоты. Китс с его романтичными стихами явно милее Вир-

джинии Вулф, чем Карлейль, и их музеи она весьма наблюдательно и остроумно сопоставляет,

Эссе «Аббатства и соборы»

Не можем не повторить то, что стало общим местом: собор Святого Павла довлеет над Лондоном. Издали кажется, будто он раздувается, как огромный серый пузырь; когда мы к нему приближаемся, он — массивный и грозный — словно на нас наваливается. И вдруг — исчезает. И за стенами Святого Павла, и под Святым Павлом, и вокруг Святого Павла, и когда собор скрывается из виду, думаешь: какой же Лондон съежившийся! Когда-то кругом были и колледжи, и четырехугольные дворы, и монастыри с прудами, полными рыбой, и церкви; были зеленые лужайки, где паслись овцы, и трактиры, где великие поэты, вытянув по столом ноги, болтали в свое удовольствие. Теперь все это пространство ужалось. Полей больше нет, нет и прудов с рыбами, и монастырей. Даже мужчины и женщины как будто сократились в размерах, стали многочисленнее и мельче, не похожими на себя. Там, где когда-то Шекспир и Джонсон в одиночестве вели степенную беседу, миллион мистеров Смитов и мисс Браун торопятся, бегут со всех ног в разные стороны, вскакивают на ходу в омнибусы, ныряют в метро.

Возникает ощущение, что их слишком много, что они стали меньше ростом, что они слишком похожи друг на друга и не имеют ни собственного имени, ни собственного характера, ни своей, не похожей ни на какую другую, жизни.

Если мы уйдем с улицы и вступим в городскую церковь, то в полной мере ощутим, какое место занимают мертвые в сравнении с живыми. В 1737 году некто Говард умер и был захоронен в церкви Сент-Мэри-Ле-Боу. Перечень его добродетелей растянулся на всю стену. «Господь одарил его здравым и глубоким умом, какой проявлялся каждодневно в его величайших и богоподобных добродетелях… В свой распутный век был он неизменным сторонником справедливости, честности и истины». Покойник занимает столько места, что здесь могла бы разместиться целая контора, которой пришлось бы платить аренду в размере нескольких сот фунтов в год. В наши же дни покойнику, столь же малоизвестному, выделили бы краешек белого камня стандартной величины среди тысяч ему подобных, и его «величайшие и богоподобные деяния» остались бы незамеченными. В той же церкви Сент-Мэри-Ле-Боу благодарному потомству надлежит остановиться и отдать должное миссис Мэри

Ллойд: не испытывая предсмертных мук и не приходя в сознание, в возрасте 79 лет она «рассталась с образцовой и ничем не запятнанной жизнью». Остановитесь, задумайтесь, обратите взгляд на себя — советуют нам, нас призывают эти старинные надписи. Мы покидаем церкви, поражаясь тому, что ведь были же некогда благословенные времена, когда останки никому не ведомых людей занимали так много места, когда нас самонадеянно призывали отдать дань их добродетелям. Меж тем как мы… Нет, вы только поглядите, как мы толкаемся, теснимся и обгоняем друг друга на улицах, как проворно увиливаем от проезжающих автомобилей. Вся наша энергия уходит на то, чтобы остаться в живых. Мы собираемся сказать, что у нас нет времени подумать о жизни, да и о смерти тоже… — как вдруг перед нами возносятся огромные стены собора Святого Павла. Вот он опять: наваливается на нас этот величиной с гору гигант, еще более серый, еще более холодный, еще более невозмутимый, чем в прошлый раз. И стоит нам войти, как мы замираем, теряемся в его просторах; в силах собора Святого Павла, как никакого другого здания на свете, освободить нас от вечной спешки, от вечного напряжения.

В каком-то смысле великолепие Святого Павла заключается попросту в его необъятных размерах, в его бесцветной безмятежности. Кажется, что в этом замкнутом пространстве, под огромным куполом, откуда свет льется не солнечный и не электрический, а нечто среднее между ними, ум и тело будто расширяются, увеличиваются в размере. В одно окно падает зеленый сноп света, луч солнца в другом окне окрашивает каменные плиты внизу холодным, тусклым пурпуром. Место найдется для каждого луча, каждый луч проникает в здание собора беспрепятственно. В этом очень большом, очень квадратном здании, где гулким эхом отдаются под куполом шарканье ног и гул голосов, есть что-то величественное, а вот загадочности, непостижимости нет вовсе. Между колонн, наподобие величавого ложа, громоздятся могильные плиты. Здесь в силе и славе своей покоятся в горделивом блеске, дабы снискать благодарность и похвалу соотечественников, великие государственные мужи, военачальники. Они и сейчас не расстаются со своими орденами и подвязками, символом гражданского почитания и воинской доблести. Их надгробные памятники содержатся в безукоризненном порядке, на плитах отсутствует ржавчина, нет ни единого

пятнышка. Даже у Нельсона вид немного щеголеватый. Даже надгробие неистового, безумного Джона Донна, облаченного в покровы мраморного савана, выглядит так, будто еще вчера оно стояло в гранитной мастерской. А между тем стоит Донн здесь в своих мучениях уже три сотни лет, побывал в пламени Лондонского пожара. Но смерти и порочности смерти сюда пути нет, здесь гражданским добродетелям, гражданским почестям ничего не угрожает. Верно, надпись над тяжелой резной дверью гласит, что врата смерти ведут нас к счастливому воскресению, однако сей массивный портал наводит на мысль, что за ним открываются не поля амаранта и волшебного корня, где звучат арфы и поет божественный хор, а мраморные ступени, что ведут в торжественные покои, величавые залы совета, где гремят трубы и висят знамена. В этом царственном здании нет места бесплодным усилиям, страданиям, исступленному восторгу.

Между собором Святого Павла и Вестминстерским аббатством нет решительно ничего общего. Аббатство не отличается ни огромным пространством, ни безмятежностью, оно узкое, стрельчатое, видавшее виды, беспокойное и оживленное. Возникает чувство, будто с шумной,

суматошной, беспорядочной улицы вступаешь в блестящий зал для приемов, оказываешься в избранном обществе мужчин и женщин высшего разряда. Присутствуют все. Гладстон устремился вперед, следом за ним — Дизраэли. Не найти ни одного угла, ни одной стены, на которую бы кто-нибудь не облокотился, не подался вперед, вслушиваясь в происходящее. Даже те, кто лежат, кажется, внимательно слушают и в любую минуту подымутся на ноги. Их руки нервно сжимают скипетры, губы стиснуты в мимолетном молчании, глаза прикрыты, точно они на мгновение о чем-то задумались. Эти мертвецы — если они мертвы — жили полной жизнью. Их лица измождены, носы вздернуты, щеки провалились. Даже камень старых колонн выглядит истертым, покоробленным от напряженной, беспокойной жизни на протяжении столетий. Где-то в лабиринтах резной крыши звучат голоса, разносится орган. Из-за растянувшихся под крышей каменных вентиляторов потолок напоминает голые сучья с облетевшими листьями, и кажется, он вот-вот закачается на зимнем ветру. Но его суровый вид смягчается: свет и тени мешаются, как будто ежеминутно вступают друг с другом в борьбу. Синий цвет уступает место золотому, золотой

— фиолетовому, цвета разгораются, вспыхивают, тускнеют. Под нескончаемой зыбью меняющегося света серый камень, какой бы он ни был древним, становится словно живым.

Вот почему Аббатство это не место смерти и упокоения, где добродетельные мертвецы лежат в ожидании награды за свои добрые дела. Да и за добродетели ли попали сюда эти покойники? Они ведь часто выходили из себя, вели себя не лучшим образом. Часто их превозносили лишь за принадлежность к знатному роду. Аббатство — прибежище королей и королев, герцогов и принцев. Свет падает на золотые короны, золото и по сей день прячется в складках церемониальных одежд. Красные и желтые цвета по-прежнему пылают в гербах, львах и единорогах. Но Аббатство — прибежище и других, еще более царственных особ, представителей еще более знатного рода. Здесь лежат мертвые поэты, они по-прежнему размышляют, бьются над смыслом жизни. «Какая шутка — наша жизнь земная! Так раньше думал я. Теперь я это знаю», — смеется Гэй. Чосер, Спенсер, Драйден и все остальные, кажется, и сейчас внимательно, не пропуская ни слова, слушают, как чисто выбритый священник в своем опрятном красно-белом одеянии в тысячный раз

читает, растягивая слова, библейские заповеди. Его звучный, хорошо поставленный голос гулким эхом разносится по всему зданию и — пусть это не покажется непочтительным — можно было бы предположить, что Гладстон и Дизраэли, дай им волю, поставили бы на голосование только что высказанное суждение пастора о том, что дети должны почитать своих родителей. В этом блестящем собрании нет ни одного человека, кто бы не думал и не поступал по-своему. Аббатство полнится высокими, пронзительными голосами, красноречивыми жестами и оригинальными взглядами. Нет ни одного дюйма в его стенах, где не звучала бы пылкая речь, не высказывались пожелания, не приводились доводы. Короли и королевы, поэты и государственные мужи по-прежнему исполняют свою роль, они лишены права незаметно обратиться в прах. Они и сейчас в оживленных спорах возносятся над бренной человеческой жизнью, у них и сейчас стиснуты кулаки, раскрыты рты, у них и сейчас в одной руке держава, в другой скипетр, так, будто мы заставили их встать на нашу защиту и торжественно заявить, что человек по природе своей способен время от времени вознестись над будничностью и хаосом уличной повседневности.

Недоуменные, остолбеневшие, стоят они перед великолепным распятием.

Так куда же пойти в Лондоне, чтобы обрести покой и уверенность, что мертвые спят вечным сном? Ведь Лондон, в конце концов, — это город надгробий и могильных плит. И в то же время Лондон — это город расцвета человеческой жизни. Даже Сент-Клемент-Дейнс — достойнейшая церковь, выросшая посреди стремительного Стрэнда, — лишилась всех своих кладбищенских привилегий: рыдающих деревьев, колышущихся трав, которыми даже самые скромные деревенские церквушки пользуются по праву. Омнибусы и автофургоны давно уже отобрали у этой церкви все то, что ей причитается. Она стоит, точно остров, и от моря ее отделяет всего-навсего край тротуара. Но ведь Сент-Клемент-Дейнс в долгу и перед живыми. Как же громко, как настойчиво, с каким пылом, с какой безумной радостью — при этом хрипло, так, словно ее язык от времени покрылся ржавчиной, — обручает сегодня церковь двух живых смертных. В Сент-Клемент-Дейнс играют свадьбу. По всему Стрэнду разносятся ее хриплые приветствия — жениху во фраке и в серых брюках, подружкам невесты в девственно белом и, наконец, самой невесте. Ее

автомобиль подъезжает к паперти, она выходит и волнообразно, вспыхнув белыми украшениями, погружается в темный церковный пролет, чтобы под рев омнибусов произнести брачные обеты. Снаружи перепуганные голуби, расхаживая кругами, метут ступени, а статую Гладстона, точно чайки — скалу, обступили любители достопримечательностей; они кивают и машут руками.

Старые кладбища, превратившиеся в сады и детские площадки, — это, может статься, единственные по-настоящему заповедные места, оставшиеся во всем городе. Надгробия больше не воспринимаются могилами, их стоящие полукругом белые плиты смотрятся как стены. Тут и там изящно выполненное надгробие играет роль садового украшения. В земле вспыхивают разноцветными огнями цветы, под деревьями стоят скамейки, на них сидят матери и няни, дети беззаботно играют поблизости в шары и в классики. Здесь ничего не стоит прочесть «Памелу» от начала до конца. Здесь можно подремать в первые дни весны или последние дни осени, не слишком заботясь о тревогах молодости или печалях старости. Ибо здесь мертвые мирно спят, ничего не доказывая, ни о чем не свидетельствуя, ни в чем не убеждая — разве только в том, что жить мы бу-

дем в мире, который достался нам благодаря им. Они охотно отказались от своих человеческих прав, чтобы их не судили по именам, не отдавали должное их особым добродетелям. Но оснований для недовольства у них нет. Когда садовник сажает свои луковицы или подстригает траву, земля вновь оживает, покрывается изумрудным, гладким покровом. Здесь сплетничают матери и няни, играют дети и старик-нищий, съев из бумажного пакета свой обед, бросает крошки воробьям. Эти кладбища-сады — самые тихие из наших лондонских святилищ. А их покойники — самые мирные.

Собор Святого Павла — наиболее известное творение великого Кристофера Рена; кафедральный собор и резиденция епископа Лондона. Кристофер Рен воздвиг этот величественный собор на месте предыдущих пяти, сгоревших во время различных пожаров и разрушенных викингами: самый первый деревянный собор был воздвигнут в 604 году и сгорел в 675-м; уже через десять лет, в 685 году, на его месте построили каменный храм, но его разрушили викинги во время очередного набега на Лондон в 961 году. Третий храм, тоже каменный, построен в 962 году и погиб во время лондонского пожара 1087

года. Четвертый каменный собор был заложен в 1086 году и освящен лишь два столетия спустя — в 1240 году. Это был один из крупнейших соборов Европы того времени, его длина составляла около 180 метров, ширина — 30 метров, высота шпиля — почти 150. Но и этот собор сгорел в 1666 году во время Великого лондонского пожара. Восстановить собор было возможно, но власти все же приняли решение о строительстве на его месте нового здания — Лондон явно хотел творение Кристофера Рена. Рен перед строительством ездил во Францию и общался там с архитекторами и художниками, тесно связанными с идеалами итальянского Возрождения, в частности Лоренцо Бернини. В результате ему удалось построить собор, не похожий ни на какой другой в мире, — потрясающее сочетание барокко и классицизма, неуловимо напоминающее при этом собор Святого Петра Микеланджело. Рен возвел над телом собора грандиозный купол, который опирается на барабан, окруженный колоннадой, напоминающей ту, что придумал Браманте для собора Святого Петра. Купол Рена объединил все элементы композиции здания и подчинил себе его массу. Увы, Рену позволили воплотить не все его задумки, некоторые декоративные решения так

и не были реализованы — но он смог сделать три галереи: внутреннюю «шепчущую» галерею и наружные каменную и золотую. В «шепчущей» галерее акустика устроена столь интересным образом, что два человека могут шептать в разных концах помещения и при этом слышать друг друга. Официальной датой открытия собора считается 20 октября 1708 года — день рождения архитектора Рена (в тот день ему исполнилось 76 лет), однако фактически службы в соборе начались 2 декабря 1697 года. Известно, что в январе 1698 года, в ходе первого путешествия Петра I за границу, русский царь посетил Англию и встречался с Кристофером Реном в Лондоне. Искусствоведы полагают, что башни со шпилем, встречающиеся в русской архитектуре периода «петровского барокко», возникли под влиянием Рена. В соборе Святого Павла похоронены многие выдающиеся деятели истории и культуры — в том числе и сам Рен, поэт и проповедник Джон Донн, служивший в соборе настоятелем с 1621 по 1631 год. А в виртуальной жизни собор неоднократно посещал Доктор Кто — в соборе была расположена «Сфера Небытия», инопланетное хранилище душ умерших.

Еще одна церковь, построенная в 1671–1680

годах тем же Кристофером Реном, **Сент-Мэри-ле-Боу**, расположена в Сити. Ее название включает слово bow, «арка», — прежняя, тоже сгоревшая церковь была построена над нормандской подземной часовней с каменным арочным сводом. В этой церкви похоронен российский посланник, **граф Семён Воронцов**, отец князя Михаила Воронцова, героя Отечественной войны 1812 года, младший брат княгини Екатерины Дашковой, страстный англоман, противник раздела Польши между европейскими государствами. В Лондоне Воронцов оказался в роли дипломата и чиновника, ответственного за обучение российских морских офицеров в британском флоте и российских кораблестроителей на верфях Англии, — после отставки он остался жить в Англии.

* * *

Сент-Клемент-Дейнс – церковь, посвященная святому Клименту Римскому, также известному как Климент Датский, – была построена в 1682 году Кристофером Реном, согласно легенде, на месте храма, воздвигнутого в IX веке датчанами, жившими в этом районе. Храм Св. Климента

сильно пострадал во время Второй мировой войны, был восстановлен на средства военных и с тех пор считается церковью ВВС Великобритании.

И наконец, **Вестминстерское аббатство** – оно имеет огромное символическое значение для жителей Великобритании, так как именно здесь коронуют и хоронят монархов. Это необыкновенное сооружение строилось на протяжении примерно 500 лет разными архитекторами, но умудрилось сохранить единый стиль. Согласно легенде, на месте современного аббатства стоял небольшой монастырь, основанный Сабертом – первым христианским королем восточных саксов, правившим с 604 по 616 год. Первые документальные сведения о Вестминстерском аббатстве датируются 785 годом, а первую серьезную перестройку здания осуществил предпоследний англосаксонский король св. Эдуард Исповедник в 1065 году. Исследовавшие аббатство ученые установили, что дверь, ведущая в Дом капитула на территории аббатства и являющаяся самой старинной дверью

в Великобритании, была создана еще до реконструкции, в 1050-х годах. В 1245 году состоялась очередная масштабная реконструкция, и здание было почти полностью, за исключением нефа, снесено по указу Генриха III, который и начал строительство Вестминстерского аббатства в готическом стиле, каким мы знаем его сегодня. Основное здание Вестминстерского аббатства имеет форму креста, на территории находится множеством надгробий, в основном принадлежащих монархам, но есть там и отдельная зона, которую называют «Уголок поэтов», где похоронены деятели культуры, такие как Чосер, Мильтон, Китс, Диккенс и др.

Эту галерею «мертвых поэтов» и упоминает Вирджиния в своем эссе: **Джон Гэй** (1685–1732) – английский поэт и драматург, автор басен, песен, пасторалей и комедий (по-русски он говорит с нами голосом С. Я. Маршака); **Джефри Чосер** (ок. 1340/1345–1400) – средневековый английский поэт, «отец английской поэзии», основоположник английского литературного языка; **Эдмунд Спенсер** (1552–

1599) – английский поэт Елизаветинской эпохи, старший современник Шекспира, впервые прививший английскому стиху сладкозвучие и музыкальность; **Джон Драйден** (1631–1700) – английский поэт, драматург, критик, баснописец, способствовавший утверждению в английской литературе эстетики классицизма. Его влияние на современников было столь всеобъемлющим, что период с 1660 по 1700 год в истории английской литературы литературоведы называют «веком Драйдена». Со стен аббатства на посетителей смотрят и два премьер-министра: **Уильям Юарт Гладстон** (1809–1898) и **Бенджамин Дизраэли** (1804–1881). Этих персонажей все англичане знают, естественно, со школьных лет.

Эссе «А ведь это палата общин!»

У входа в палату общин стоят статуи великих государственных мужей; черные, гладкие, лоснящиеся, они напоминают морских львов, только что вылезших из воды. И внутри — в этих обдуваемых ветром, звучных залах, где в разных направлениях снуют люди, которые берут у полицейских зеленые карточки, задают вопросы, смотрят во все стороны, приветствуют членов парламента, следуют за своими наставниками, кивают, и смеются, и выполняют поручения, и ныряют во вращающиеся двери с бумагами и портфелями и прочими атрибутами деловой спешки, — внутри тоже стоят статуи, статуи Гладстона, Грэнвиля, лорда Джона Расселла, белые статуи, что пристально смотрят белыми глазами на нескончаемую суету, в которой и они не так давно принимали участие.

Здесь нет ничего древнего, освещенного веками, или музыкального, или церемонного. Хриплый голос: «Спикер!» — возвещает появление самой обыкновенной, ничем не примечательной процессии, чья пышность ограничивается лишь церемониальным жезлом, париком и мантией

спикера и золотыми значками метрдотелей. Вновь раздается хриплый голос: «Шляпы долой, посторонние!» — после чего поношенные фетровые шляпы покорно вздымаются, а метрдотели низко кланяются. И это всё. И тем не менее зычный голос, черные мантии, гулкий перестук ног по камню, жезл и поношенные фетровые шляпы лучше всяких пурпурных одеяний и труб свидетельствуют: члены палаты занимают свои места в своем собственном доме, дабы управлять делами в своей собственной стране. Какой бы непростой ни покажется наша история, мы отдаем себе отчет, что мы, обыкновенные люди, завоевали это право много веков назад и этим правом дорожим. Что жезл — это наш жезл, что спикер — это наш спикер. И что мы не нуждаемся в трубах, и в золоте, и в пурпуре для того, чтобы ввести нашего представителя в нашу собственную палату общин.

Конечно, в нашей собственной палате общин, если посмотреть на нее изнутри, нет решительно ничего благородного, или величественного, или даже достойного внимания. Она такая же видавшая виды, такая же невзрачная, как любой другой зал заседаний средней величины. Дубовый пол, разумеется, от времени пожелтел. Окна,

разумеется, расписаны уродливыми гербами. Под ногами, разумеется, красная циновка. Скамейки, разумеется, покрыты грубой кожей. Куда ни посмотришь, так и хочется сказать: «разумеется». Это неопрятное, ничем не выдающееся помещение. Повсюду летают, ложась на пол густым слоем, бумаги. Люди ежеминутно входят и выходят. Мужчины шепчутся, сплетничают и рассказывают друг другу на ухо анекдоты. Вращающиеся двери не устают вращаться. Даже на островке, где восседает под своим балдахином спикер, постоянно присутствуют рядовые члены палаты, они считают, что вправе наблюдать отсюда за происходящим. Ноги преспокойно ставятся на край стола, где лежит, свесившись, жезл, а два обитых медью ящика с бумагами государственной важности нет-нет да и заденут по случайности ногой. Члены палаты то и дело встают и садятся, вскакивают и замирают на месте. Отчего походят на птиц, скачущих по вспаханному полю. Если парламентарии поднимаются, то всего на несколько минут, одни вечно куда-то устремляются, другие, устремившись, всегда возвращаются на свое место. По залу словно бы летает, воркуя, каркая и щебеча, стая птиц, они оживленно обсуждают между собой, кто чем по-

живился: семенем ли, червяком или втоптанным в землю зернышком.

Приходится строго себе сказать: «Но ведь это палата общин! Здесь как-никак решаются судьбы мира. Здесь сражался Гладстон, и Пальмерстон, и Дизраэли. Это они, эти люди, нами управляют. Мы подчиняемся их приказам в любое время дня и ночи. Наши кошельки в их власти. Они решают, с какой скоростью мы должны ездить на машине по Гайд-парку, а также — будем ли мы воевать или жить в мире». Нам приходится себе об этом напоминать, ибо с виду они мало чем отличаются от других людей. Верно, одеваются они очень неплохо. Мы смотрим снизу вверх на их отполированные цилиндры, равных которым нет во всей Англии. Пурпурные петлицы у многих из них — загляденье. Они сытно едят и не преминут дать своим детям хорошее образование. Но когда они спорят или смеются, когда пребывают в хорошем настроении или проявляют нетерпение, они ничуть не более благоразумны или порядочны, чем любой другой на их месте, у них ничуть не более респектабельный вид, чем у какой-нибудь группы людей, которые собрались, чтобы обсудить свои приходские дела или премировать племенного быка. И все же спустя какое-то время

мы начинаем ощущать некоторую любопытную разницу. Мы чувствуем, что члены палаты общин — это все же определенное сообщество, существует оно очень давно и живет по своим законам и правилам. Члены палаты могут быть по-своему непочтительны, но и почтительны тоже — на свой лад. У палаты общин свой кодекс чести, и те, кто этим кодексом пренебрегают, будут незамедлительно наказаны; тем же, кто его разделяет, наказание не грозит. Но о том, что парламентским кодексом порицается, а что поощряется, сказать могут лишь те, кто посвящен в тайны палаты общин. И тайны эти существуют — на этот счет не может быть никаких сомнений. Какое бы высокое место мы ни занимали, в присутствии члена палаты, который с присущей ему непринужденностью сидит, закинув ногу на ногу, и что-то записывает на коленке, нам ничего не стоит либо с неподобающим легкомыслием, либо с неподобающей серьезностью сморозить какую-то глупость. Совершенно уверены мы и в том, что, какими бы благородными, одаренными и бесстрашными мы ни были, если нам не хватает чего-то еще, какого-то не поддающегося определению качества, на успех нам рассчитывать не приходится.

Раз уж мы вспомнили Парламентскую площадь, зададимся вопросом, как любой из этих авторитетных, холеных джентльменов превратился в статуи? Гладстону, Питту, даже Пальмерстону это превращение ничем не грозит. Но взгляните на мистера Болдуина, ведь это вылитый сельский джентльмен, который разводит свиней, — как, скажите, ему удалось подняться на пьедестал и благопристойно завернуться в покрывало из черного мрамора? Нет памятника, который воздал бы должное сэру Остину, не будь он изваян в своем ослепительном цилиндре. Холодность и строгость мрамора противопоказаны мистеру Хендерсону. Когда он стоит, отвечая на вопросы, на его гладких щеках вспыхивает здоровый румянец, а пшеничные волосы лоснятся так, будто художник написал его всего десять минут назад и не успел еще высушить кисти. Сэр Уильям Джоуитт, правду сказать, вполне мог бы позировать скульптору, ваяющему его бюст, но для этого ему пришлось бы расстаться со своим галстуком-бабочкой. Рамсей Макдональд «фотогеничен», как выражаются фотографы, и мог бы, не вызывая насмешек, занять мраморное кресло в городском сквере. Но вообразить в мраморе остальных членов палаты совершенно невозможно. Глав-

ное достоинство этих энергичных, вздорных, вульгарных, курносых, краснощеких сквайров, юристов, коммерсантов заключается в том, что во всех четырех королевствах не найдется ни одного человека, который был бы более нормальным, более обычным, ничем не выделяющимся, к себе располагающим. Острый взгляд, сдвинутые брови, нервная, чувствительная рука — это не про них. Человека самобытного, не похожего на других эти жизнерадостные воробьи заклевали бы до смерти. Посмотрите, как непочтительно обходятся они с самим премьер-министром. Ему приходится отвечать на вопросы совсем еще молодого парня, который, кажется, еще вчера вытаскивал лодку на берег. Или — отчитываться перед коренастым, приземистым человечком, который, судя по тому, как он выражается, прежде чем оказаться в Вестминстере, набивал сахаром, стоя за прилавком, синие пакеты. И ни тот ни другой не испытывают перед премьером ни малейшего страха, и тот и другой относятся к нему безо всякого почтения. И если премьер-министр в ближайшие дни удостоится статуи, у этих развязных членов палаты это не вызовет ни малейшего энтузиазма.

Все это время за вопросом следовал ответ, за

ответом следующий вопрос; наконец, наступила тишина. Министр иностранных дел поднялся со своего места, взял в руки несколько страниц машинописи и принялся читать ясным, твердым голосом; речь шла о трениях с Германией. В пятницу, сказал министр, он встречался с германским посланником в Форин-офисе; он говорил послу это, говорил послу то. В понедельник он отправился в Париж, где беседовал с месье Брианом. Они договорились об одном, сошлись на другом. Более внятного, более твердого, более продуманного изложения фактов трудно было себе представить. И пока он говорил — так откровенно, так четко, — на правительственных местах, казалось, вырастает каменный пьедестал. Иными словами, слушая министра иностранных дел, пытающегося исправить наши отношения с Германией, понимаешь, что эти ничем не примечательные, деловые люди в ответе за действия, которые останутся в истории, когда их пунцовые щеки, и цилиндры, и клечатые брюки превратятся в прах и пепел. Здесь, в эти минуты, вершатся великие дела, решаются судьбы мира, который зависит от этих совсем простых людей, чьи каменные изваяния лепятся у нас на глазах. Огромная машина ложится на плечи этих самых

обыкновенных людей. И сама машина, и человек, на которого эта машина опускается, — просты, невыразительны, безличны.

Было время, когда министр иностранных дел манипулировал фактами, играл ими, подтасовывал их, использовал все ресурсы остроумия и красноречия, дабы представить факты такими, какими он хотел их представить людям, которым приходилось идти у него на поводу. Он был не из тех обыкновенных деловых людей, у которых есть небольшой автомобиль и собственный загородный дом и которые больше всего на свете любят во второй половине дня, освободившись от дел, поиграть со своими сыновьями и дочерями в гольф на общинном поле где-нибудь в Суррее. Когда-то министр владел аудиторией, умел виртуозно исполнять свою роль. Его красноречивые разглагольствования сотрясали воздух. Слушавшие умилялись, восхищались, ловили каждое его слово. Питт обличал. Бёрк очаровывал. Оригинальность была в почете. Теперь же нет ни одного человека, который мог бы в одиночку справиться с человеческими делами. Они, эти дела, топчут его, уродуют, лишают выразительности, превращают в анонима, в свое подспорье. Делами управляют теперь не отдельные люди,

а комитеты. Но даже комитеты могут лишь направлять людей, торопить их, загонять в другие комитеты. Многогранность, обаяние личности стали западней на пути к делу. Главное теперь не рассуждения, а решения. Каждую неделю тысячи кораблей бросают якорь в доках; сколько же тысяч дел приходится каждый день решать палате общин? Вот почему, если статуи будут ставиться и впредь, со временем они станут все более и более монолитными, безыскусными, невыразительными. Ваятель не будет больше ваять воротнички Гладстона, кудрявую шевелюру Диззи и соломенные бакенбарды Пальмерстона. Это будут гранитные постаменты, водруженные на камень с выбитыми на нем битвами. Время индивидуальностей и сильных личностей прошло. Остроумие, обличение, страсть больше не нужны. Мистер Макдональд обращается не к немногочисленным слушателям в палате общин, а к мужчинам и женщинам на фабриках, в магазинах, на фермах в вельде, в индийских деревнях. Обращается ко всем людям, где бы они ни находились, а не к нам, сидящим здесь. Вот откуда внятность, твердость, бесстрастность его речей. Но если дни небольших статуй сочтены, почему бы не возродиться веку архитектуры?

Этим вопросом мы задаемся, когда покидаем палату общин. Когда мы выходим на улицу, Вестминстер-Холл потрясает своим величавым достоинством. Внизу бесшумно передвигаются крохотные мужчины и женщины. Они кажутся едва заметными, может, даже жалкими — но вместе с тем значимыми и красивыми под сенью громадного купола, у подножия гигантских колонн. Быть маленьким, безымянным существом в необъятном соборе даже, пожалуй, приятно. Давайте же перестроим мир в великолепный зал, давайте перестанем возводить статуи и исписывать их несуществующими добродетелями!

Давайте посмотрим, сможет ли демократия, которая строит залы, превзойти аристократию, которая ваяет статуи. Но ведь полицейских покамет меньше не стало, их по-прежнему не сосчитать. Исполин в синем стоит перед каждой дверью, чтобы мы не слишком торопились с нашей демократией. «Вход только по субботам, с 10 до 12». Такие объявления сдерживают наши прогрессивные мечтания. Признаемся: нам с нашим развращенным умом свойственно по давней привычке остановиться и задуматься: «Здесь стоял король Карл, когда его приговорили к смерти. А вот граф Эссекс, и Гай Фокс, и сэр Томас Мор».

Такое впечатление, будто наш рассудок, совершающий полет в пустом пространстве, любит усесться на чей-нибудь примечательный нос, на чью-то дрожащую руку; ему нравятся острый взгляд, сдвинутые брови, ни на кого не похожее оригинальное, великолепное человеческое существо. Так будем же надеяться, что демократия наступит — но не раньше, чем через сто лет, когда мы будем лежать в земле. Что, по мановению гения, аристократия и демократия, огромные залы и ничтожно малое, ни на кого не похожее человеческое существо станут единым целым.

* * *

Палатой общин называется нижняя палата парламента Великобритании. Парламент развился из совета при короле в Средние века – он состоял из церковников, дворян и представителей графств, и основной его функцией был сбор налогов. Например, при Вильгельме Завоевателе, правившем Англией с 1066 года по 1087-й, существовал совет крупных феодалов и иерархов церкви – Большой королевский совет. Парламент родился из долгой и мучительной борьбы феодалов с королями,

стремившимися ограничить их власть, – в 1215 году крупные землевладельцы добились от Иоанна Безземельного подписания Великой хартии вольностей, согласно которой король не мог назначать новых налогов без согласия «общего совета королевства», который постепенно эволюционировал в парламент. Генрих III, сын Иоанна Безземельного, тоже попытался было заставить подданных слушаться, но бароны принудили его подписать соглашение о создании совета для контроля над королем. В него было внесено требование созыва парламента трижды в год, что существенно ограничивало монархию. На каждом заседании парламента должны были присутствовать избранные советники короля для рассмотрения общегосударственных вопросов. Для этой цели назначались 12 человек как представители «общин» – отсюда и название палаты общин. С тех пор парламент выполнял в Англии, а позднее в Великобритании, все важнейшие законодательные функции – ни Тюдоры, ни Стюарты, ни Кромвель не смогли этому

помешать.

В этом эссе Вирджиния упоминает британских **премьер-министров** конца XIX – первой половины XX века, сыгравших важную роль в укреплении власти и престижа Империи: Уильяма Гренвиля, Джона Рассела – лидера вигов и деда философа Бертрана Рассела, Генри Джона Темпла, Джеймса Рамсея Макдональда, Уильяма Питта, Стэнли Болдуина, способствовавшего нарушению условий Версальского мира, и других государственных и политических деятелей, сыгравших важные, далеко не всегда положительные роли.

Сэр Остин – это Джозеф Остин Чемберлен, тот самый, имя которого стало популярным благодаря поговорке «наш ответ Чемберлену», – будучи министром иностранных дел, в 1927 году он направил советскому правительству ноту, обвиняющую СССР в ведении «антибританской пропаганды», и получил в ответ пропагандистскую кампанию.

Артур Хендерсон вышел из пролетариев, работал литейщиком, но на волне профсоюзного движения стал парла-

ментарием и даже приезжал в Россию по приглашению Временного правительства; участвовал в восстановлении дипломатических отношений с СССР.

Есть в рассказе Вулф и промышленники: **Бенджамин и Уильям Джоветты** основали компанию по изготовлению легковых автомобилей в 1910 году. Автомобиль «Джоветт» пользовался популярностью вплоть до Второй мировой войны, но после производство было закрыто, хотя компания осталась – сегодня это один из крупнейших автомобильных дилеров в Европе. Писательница вспоминает **Эдмунда Бёрка** – англо-ирландского парламентария и родоначальника идеологии консерватизма. **Уильям Питт Младший** (1759–1806) – член парламента от Эпплби («гнилое местечко»). Произнес речь в защиту билля Эдмунда Бёрка о экономической реформе. Самый молодой премьер-министр в истории Великобритании. **Гай Фокс**, дворянин-католик, участник Порохового заговора против короля Якова I в 1605 году, известен сегодня не только англичанам. Он

собирался взорвать палату лордов, и его имя сохранилось в названиях различных празднеств, посвященных чудесному спасению короля («Ночь Гая Фокса» отмечается во многих англоязычных странах 5 ноября). Маска Гая Фокса, использованная в комиксе «V – значит вендетта» и фильме по его мотивам, превратилась в интернет-мем и символ протестного движения. **Томас Мор**, лорд-канцлер Англии (1529–1532), написал книгу «Утопия» об острове всеобщего счастья с идеальным устройством государств, и стал родоначальником жанра утопии и антиутопии.

Эссе «Портрет кокни»

Человек не вправе считать себя знатоком Лондона, если он не знает хотя бы одного настоящего кокни. Если он ни разу не свернул на боковую улицу и не постучал в частную дверь частного дома вдали от магазинов и театров.

Частные дома мало чем отличаются друг от друга. Входная дверь ведет в темный холл, из темного холла наверх подымается узкая лестница, справа от лестницы гостиная, состоящая из двух комнат, в передней комнате по обеим сторонам от ярко пылающего камина два дивана, шесть кресел и три высоких, выходящих на улицу окна. О том, что происходит в задней комнате, из которой видны сады других таких же домов, остается только гадать.

Но нас с вами интересует не задняя, а передняя гостиная, ибо именно здесь, в кресле у огня, восседает миссис Кроу. Здесь ее вселенная; здесь она разливает чай.

То, что родилась она в деревне, может показаться странным, но это именно так; верно и то, что иногда, в летнее время, когда Лондон перестает быть Лондоном, она из города уезжает. Однако

куда миссис Кроу отправилась и чем занималась, находясь вдали от столицы, когда ее кресло пустовало, камин не топился и стол не был накрыт, никто не знает и не может даже себе представить. И то сказать, даже люди, наделенные самой безудержной фантазией, не могут вообразить, как это миссис Кроу в своем черном платье и в шляпке с вуалеткой разгуливает по полю среди турнепсов или взбирается на холм, где пасутся коровы.

Здесь — зимой у огня, летом у окна — миссис Кроу сидит уже шестьдесят лет. И сидит не одна. Кресло напротив предназначено гостю. И не проходит с появления первого гостя и десяти минут, как дверь открывается вновь, и служанка Мария (глаза навыкате и зубы тоже), которая встречает посетителей уже шестьдесят лет, в очередной раз впускает второго гостя, а за ним третьего, и четвертого.

Беседа tete-a-tete миссис Кроу неведома, разговаривать с глазу на глаз она не любит. Как и многие хозяйки, она ни с кем из гостей близко не сходится. К примеру, в углу, возле шкафа, всегда сидит пожилой человек, который, откровенно говоря, столь же неотделим от обстановки гостиной, как медная инкрустация от великолепной

мебели восемнадцатого столетия. Но миссис Кроу обращается к нему не иначе, как «мистер Грэм», никогда не назовет его Джоном или Уильямом. Иной раз, правда, она может обратиться к нему «дорогой мистер Джон», словно давая этим понять, что знакомы они уже шестьдесят лет.

Миссис Кроу, и в этом все дело, нужна не близость, а беседа. Близость порождает молчание, а молчание ей ненавистно. Нужна беседа, и беседа эта должна быть общей и обо всем на свете. Разговор не должен быть слишком отвлеченным, не должен быть слишком умным, ибо, окажись он или тем, или другим, кто-то из ее гостей обязательно из этого разговора выпадет, станет вертеть в руке чашку чая и помалкивать.

Вот почему у гостиной миссис Кроу немного общего со знаменитыми салонами, описанными мемуаристами. Кто только к ней не приходит: судьи, врачи, члены парламента, писатели, музыканты, люди, которые путешествуют, люди, которые играют в поло, актеры и полные ничтожества, — но если кто-то высказал какую-то оригинальную мысль, то воспринимается она некоторым нарушением этикета, чем-то, на что принято не обращать внимания, как на чиханье или на упавший с тарелки кекс. Жанр беседы,

который миссис Кроу по душе, который она превозносит, это нечто вроде прославленной в веках деревенской сплетни. Деревня у миссис Кроу — это Лондон, а предмет сплетни — это лондонская жизнь. Великий дар миссис Кроу состоит в том, что в застольной беседе у нее в гостиной огромный столичный город становится размером с деревушку с одной церковью, особняком сквайра и двумя десятками домов. Она владеет информацией из первых рук о каждой пьесе, каждой выставке, каждом судебном процессе, каждом разводе. Знает, кто женится, кто при смерти, кто сейчас в городе, а кто уехал. Сообщает, что только что видела автомобиль леди Амфлби, и высказывает предположение, что леди Амфлби едет навестить свою дочь, которая родила накануне вечером. И говорит об этом миссис Кроу точно так же, как сказала бы женщина из деревни, которая видела, как жена сквайра едет на станцию встречать мистера Джона, которого ждут из города.

А поскольку миссис Кроу делится подобными наблюдениями последние лет пятьдесят, она поразительно хорошо осведомлена о жизни других людей. Когда, например, мистер Смедли говорит, что его дочь помолвлена с Артуром Бичемом, миссис Кроу не преминет заметить, что в таком

случае его дочь станет двоюродной племянницей миссис Файрбрейс и даже, кажется, племянницей миссис Бамс, вышедшей замуж первым браком за мистера Минчина из Блэкуотер-Грейндж. Нет, миссис Кроу никакой не сноб; она лишь коллекционер родственных отношений, и благодаря своему несравненному мастерству такого рода она придает своим вечерним посиделкам семейный, домашний характер. Мы ведь даже не подозреваем, сколько у нас двоюродных и троюродных кузенов и кузин.

Дом миссис Кроу является, таким образом, своеобразным клубом. Вот только за членство в этом клубе расплачиваются не деньгами, а сплетнями. Когда в доме пожар, или лопнули трубы, или горничная сбежала с дворецким, первое, что, должно быть, приходит многим на ум, — это: «Побегу-ка рассказать миссис Кроу!» Но и тут ее гости оказываются в неравном положении. Одни вправе бежать к миссис Кроу во время ленча, другие, и таких большинство, — явиться между пятью и семью вечера. И лишь совсем немногие, особо избранные, заслужили право прийти к ужину. Очень может быть, ужинали у нее всего только мистер Грэм да миссис Бёрк, ведь миссис Кроу женщина небогатая. Ее черное платье немного

поизносилось, брильянтовую брошь, одну и ту же, она носит много лет не снимая. Чаепитие миссис Кроу предпочитает потому, что на чайном столе можно сэкономить. А еще потому, что за чаем всегда есть о чем поболтать, ведь миссис Кроу человек общительный. Но будь то ленч или чай, трапеза всегда носит какой-то особый, ни с чем не сравнимый характер — точно так же, как ее платье и драгоценности, которые ни с чем не спутаешь. К столу всегда подается какой-то особый пирог, особый пудинг, что-то присущее дому, такое же испытанное, устоявшееся, как старая служанка Мария, или старый друг мистер Грэм, или старая потертая обивка кресла, или старый ковер на полу.

В том, что миссис Кроу случается выйти прогуляться, что и ее тоже иной раз приглашают на ленч или на чай, сомневаться не приходится. Но в гостях она чувствует себя неуютно, не в своей тарелке. Как будто на свадьбу, или на званый ужин, или на похороны она забежала только для того, чтобы пополнить запасы новостей, которыми будет делиться с гостями своими собственными. Вот почему ее не уговоришь остаться — она всегда на бегу. Среди чужих столов и стульев ей не по себе; чтобы чувствовать себя уверенно, у нее должны

быть ее собственные стулья с потертой обивкой, и собственный шкаф, и собственный мистер Грэм, примостившийся у шкафа. С годами даже такие редкие, поспешные вылазки во внешний мир, по существу, прекращаются. Миссис Кроу свила себе такое уютное, надежное гнездышко, что не нуждается ни в одном перышке, ни в одной веточке внешнего мира. К тому же ее друзья так ей преданы, что она убеждена: любая, даже самая ничтожная новость будет ей передана, дабы она могла пополнить свою коллекцию. Покидать кресло у камина зимой и у окна летом ей вовсе не обязательно. С годами ее знание жизни стало — нет, не более глубоким, глубина не ее сильная сторона, а более разносторонним, полноценным. А потому, если новая пьеса имела большой успех, миссис Кроу на следующий же день может не только сообщить об этом своим гостям, вспрыснув эту новость какой-нибудь забавной сплетней из-за кулис, но и припомнить другие премьеры восьмидесятых-девяностых годов; описать, как одевалась Эллен Терри, что сделала Элеонора Дузе и что сказал дорогой мистер Генри Джеймс. Возможно, во всем этом и нет ничего примечательного, но, когда она говорит, то кажется, как будто забавы ради листаешь страницы лон-

донской жизни за полвека. В этой книге много страниц и много великолепных фотографий знаменитых людей. Впрочем, миссис Кроу ни в коей мере не живет прошлым, не превозносит его в ущерб настоящему.

Действительно, самая последняя страница, сегодняшний день всегда значат для нее больше всего. Прелесть Лондона в том, что в нем всегда найдется, на что посмотреть, о чем поговорить. Для этого требуется только не проморгать то, что происходит, и сидеть у себя в кресле с пяти до семи. Она сидит в окружении своих гостей и нет-нет, а бросит быстрый, птичий взгляд на окно, так, будто одним глазом смотрит на улицу, одним ухом прислушивается к шуму машин и омнибусов, к крикам мальчишек, продающих газеты. Еще бы, ведь в эту минуту, может статься, происходит нечто интересное, невозможно тратить слишком много времени на прошлое, но и уделять внимание только настоящему тоже нельзя.

Что может быть более характерным и, пожалуй, немного странным, чем та порывистость, с которой миссис Кроу поднимает глаза, замолкает на полуслове, когда дверь в гостиную открывается, и Мария — как она располнела, да и слышит

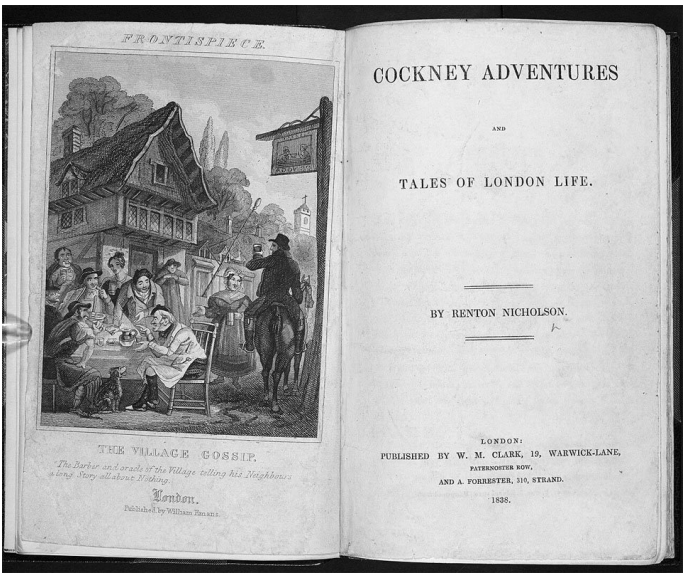
неважно! — объявляет о приходе очередного гостя? Кто же он? Каков будет его вклад в застольную беседу? А впрочем, ее умение разговорить любого собеседника, использовать его сильные и слабые стороны, ее искусство ввести вновь прибывшего в курс дела таковы, что никакого вреда от его появления ждать не приходится. Она как никто умеет проследить за тем, чтобы дверь в гостиную не открывалась слишком уж часто. Чтобы круг гостей не был излишне широк и она оставалась хозяйкой положения.

Так вот, чтобы понять, что Лондон это не только великолепное зрелище, не только гигантский торговый, судебный и промышленный улей, но еще и место, где люди встречаются, разговаривают, смеются, женятся и умирают, пишут маслом и пером, играют на сцене, правят и издают законы, — совершенно необходимо познакомиться с миссис Кроу. Это в ее гостиной неисчислимые фрагменты огромного города складываются в единое, живое, осмысленное, забавное и радостное целое. Путешественники, что отсутствовали годами, приплыли из Индии или Африки, жили полной приключений жизнью среди туземцев и тигров, придут сюда, в этот маленький дом на тихой улице, чтобы одним махом вернуться в

сердце цивилизации.

Но даже Лондону не дано даровать миссис Кроу вечную жизнь. В один прекрасный день, когда часы пробьют пять, мы не застанем миссис Кроу в кресле у камина, в этом не может быть никаких сомнений. Мария не откроет дверь в гостиную, стул мистера Грэма у шкафа будет пустовать. Миссис Кроу мертва, а Лондон — нет. Но хотя Лондон по-прежнему существует, прежним Лондоном ему не быть уже никогда.

* * *



«Истории из жизни Лондона». Книга про приключения кокни

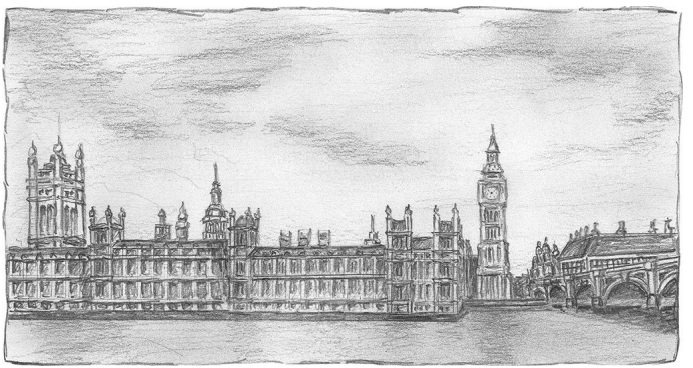
Кокни – невероятное, чисто лондонское явление как социального, так и лингвистического плана. Это один из самых известных сленгов английского языка,

который в XIX и даже в XX веке был очень популярным среди отдельных слоев населения Лондона. Слово *Cockney* впервые было упомянуто в 1362 году в аллегорической книге легендарного средневекового поэта Уильяма Лэнгланда «Видения о Петре-пахаре». Само слово cockney переводится как «петушиное яйцо»; (*cock* – англ. «петух», *ey* – ср. англ. «яйцо»). В Средние века так называли деформированные и недоразвитые куриные яйца – считалось, что такие яйца несут петухи. В книгах того времени также шутливо упоминалась еще и мифическая страна роскоши Кокейн, которую средневековые крестьяне воспринимали как намек на изнеженных жителей Лондона. Примерно с XVII века, когда крестьяне постепенно потянулись в города, так начали называть рабочих, моряков, кораблестроителей, продавцов, ремесленников, родившихся в пределах слышимости звона колоколов церкви Сент-Мэри-ле-Боу (звон их слышен на расстоянии не больше 5 миль от церкви), примерно в районе Сити. Крестьяне принесли в город и свой характерный

диалект, и с XIX века так начали называть уже всех жителей Вест-Энда, где селились в основном представители средних и низших слоев. Для кокни характерно весьма своеобразное произношение – они «глотают» глухие согласные, растягивают и изменяют гласные (есть даже женский спецкокни!); но самое интересное в этом языке – рифмованный сленг! Он показывает, что кокни отнюдь не примитивны – понять этот язык без специального обучения невозможно, поскольку он состоит из чего-то наподобие рифмованных аббревиатур. Например, слово *Lies* рифмуется с фразой *Porky Pies*, и, когда опускается слово *Pies*, оно превращается в загадочные *Porkies*. Фраза в разговоре: *Stop telling Porkies about me*! – будет означать «Прекрати распространять обо мне ложь!». Ученые до сих пор спорят о происхождении этого удивительного явления – то ли рыночные торговцы скрывали свои дискуссии от покупателей, то ли криминальные авторитеты так беседовали между собой. Сегодня существуют вполне академичные словари кокни,

уметь изъясняться на этом языке постепенно стало признаком образованности, на кокни говорят герои фильмов Гая Ричи. Эссе Вирджинии Вулф подчеркивает ее интерес к людям разного социального происхождения, поразительную наблюдательность, чувство юмора и доброту.

VI. Прощание с прежним Лондоном



Биг-Бен

Сегодня, из будущего, хочется повторить вслед за Вирджинией: «Но хотя Лондон по-прежнему существует, прежним Лондоном ему не быть уже никогда». В 1930-х годах Вирджиния достигла своего творческого зенита, хоть и не догадывалась об этом. Уже были написаны такие выдающиеся ее произведения, как «Комната Джейкоба» (1922), «Миссис Дэллоуэй» (1925), «На маяк» (1927), «Орландо» (1928), «Волны», (1931), «Флаш»

(1933), программные эссе «Своя комната» и «Три гинеи»; Вирджиния Вулф стала признанным литературным критиком, мастером необычного, новаторского стиля, способным увидеть поэзию в банальном и бытовом. Большая часть ее работ была опубликована самостоятельно в издательстве *Hogarth Press* — и это тоже воспринималось чем-то совершенно новым. Вирджиния Вулф превратилась в одну из самых важных романисток XX века — в ее высказываниях и в ее творчестве можно было увидеть все достижения и проблемы времени: возникающий феминизм в самых разных изводах, изменившиеся социальные взаимоотношения людей, отношения между нациями, метрополией и колониями — в своем творчестве писательница умудрялась одним словом поляризовать общественное мнение.

Англичане, да и все европейцы начали понимать, что чудовищная война ничему не научила их правителей — когда в Германии пришел к власти фюрер-монстр, все решили, что его проще кормить и умиротворять, чтобы сдерживать безумные стремления, но атмосфера становилась постепенно все тревожней и тревожней. В Англии консервативное правительство боялось реформ, росла безработица и экономические

проблемы, а блумсберийцы становились старше, и им становилось все труднее совмещать идеалы с реальностью.

Запись в Дневнике. 2 октября, воскресенье. 1932 год

Лондон. Пожалуй, позволю себе новое перо. Странно, что возвращение сюда немедленно нивелирует мое писательское настроение. Еще более странно, насколько мной овладело чувство, что теперь, когда мне пятьдесят лет, я легко сохраняю равновесие и твердой рукой попадаю в цель. Вот почему суета еженедельных газет меня совершенно не волнует. В душе произошли определенные перемены. Я не верю в старение, а верю лишь в вечное движение за солнцем. Отсюда мой оптимизм. И чтобы двигаться сейчас, мне нужно сознательно отбросить все случайное в жизни: людей, отзывы, славу, сверкающую шелуху — и стать замкнутой и сосредоточенной. Вот почему я пока не буду бегать по городу, покупать одежду, встречаться с людьми. Завтра мы отправляемся на съезд лейбористской партии в Лестер. Потом вернемся к своей издательской лихорадке. «Обыкновенный читатель» не вызывает у меня ни малейшего трепета. И книга Холтби тоже. Мне интересно наблюдать за происходящим и без

своего участия в нем — отличный настрой, когда осознаешь свою силу. Сейчас мне греют душу мысли о холмах, загородной жизни, счастье с Л. в Родмелле; какая там свободная жизнь — всего в 30–40 милях; можно приехать, когда и как нам вздумается; спать в пустом доме; триумфально справляться со всякими трудностями; ежедневно наслаждаться божественной красотой; постоянно гулять; наблюдать за чайками над пашней или поехать в Тарринг-Невилл — сейчас я особенно наслаждаюсь птичьим полетом в широком просторном небе. <…>

Запись в Дневнике. Март. 1935 год

Ради чувства опасности можно покорять горы или участвовать в бое быков, но в случае войны это чувство, смешанное, говорю я, с философией, продлится не дольше нескольких месяцев. Джулиан говорит, что молодые люди становятся коммунистами из-за тяги к совместной деятельности и ради чувства опасности в течение нескольких месяцев. Очень бедный немецкий народ считает, что все лучше, чем их жизнь. Но это не то же чувство, которое было в 1914 году. Вожделение и опасность. Нужно отвлечь их каким-то безобидным делом. Но каким? Требуется фантазия. Я говорю, что многие люди находят жизнь захватывающей и без войны или боя быков. Хоть кому-то от войны становилось лучше?

* * *

К зловещей динамике общественной жизни добавились личные горести самого тяжелого свойства. В 1932 году умер Литтон Стрэйчи — английский писатель, биограф и литературный критик, один из старейших членов кружка

«Блумсбери» и близкий друг Вирджинии с юных лет, и вместе с ним исчезла целая глава юности Вирджинии. Вскоре за его смертью последовало самоубийство художницы и феминистки, подруги Литтона Стрейчи Доры Кэррингтон, и эта трагедия была воспринята писательницей крайне болезненно — Вирджиния сама часто подумывала о суициде, у нее было даже несколько попыток. В 1934 году умер художник и художественный критик, введший в обиход такое понятие, как постимпрессионизм, тоже старинный член «Блумсбери», Роджер Фрай. Утрата ударила по Вирджинии особенно сильно из-за опустошительного воздействия на ее сестру, а отчасти и потому, что она сама ценила Фрая и как профессионала, и как личность. К началу 1930-х годов Литтон уже несколько лет жил в своем собственном кругу, тогда как Роджер оставался гораздо ближе к тому, что можно было назвать сердцем «Блумсбери», если считать Вирджинию Вулф и Ванессу Белл ядром этого эфемерного образования. Роджер привносил в жизнь друзей доброту и заботу, вечную молодость духа, авантюризм и богатство своего ума, а его смерть обокрала их, сделав существование бесплодным и лишенным прежней смеси веселья, споров и

интеллектуальной честности, которую неизменно порождало присутствие Фрая.



Вирджиния Вулф в саду, 1930-е годы

Наконец, в 1935 году Фрэнсис Биррелл, сравнительно молодой человек, был сражен раком мозга и умер. Фрэнки никогда не был близок Вирджинии так, как Литтон и Роджер, но все, кто знал Биррелла, не могли не любить его и не ужасаться жестокости судьбы, лишившей их столь восхитительного человека. Уход Фрэнсиса тронул Вирджинию и в другом смысле, ведь он встретил смерть в трезвом уме и с жизнерадостной философией, проистекавшей не из религиозных убеждений, а из твердого рационализма.

Ко всем горестям неожиданно добавились и не очень лестные оценки критиков — Вирджиния всегда остро переживала по поводу репутации, реакции читателей на свои книги (порой вплоть до приступов болезни). Она, как настоящий модернист и интеллектуал, не желала принимать общественные награды, ставшие следствием растущего признания ее достижений. Должность лектора в Кембридже, почетная степень Манчестерского университета, Орден Кавалеров Почета — от всего этого она вежливо отказывалась. Казалось, что Вирджиния относилась к наградам как к пустякам, но при этом не могла так же легко отмахнуться от враждебных насмешек критиков

— недоброжелатели причиняли ей сильную боль (хотя следует отметить, особенно с высоты сегодняшнего дня, что высказывания Вирджинии порой могли быть бесцеремонными, грубыми и даже жестокими — некоторые современные критики считают ее взгляды элитарными, не без оснований, но без скидок на время).

Но Вирджиния обладала удивительным свойством в трудных ситуациях собирать свою волю в кулак и не поддаваться обстоятельствам, а иначе она не стала бы тем, кем была. К примеру, она нашла утешение в лондонских цветах:

Запись в Дневнике. 28 марта, четверг. 1935 год

<…> Весна торжествует. Крокусы в цвету. Распускаются нарциссы и гиацинты. В парке набухают почти каштана. За городом и в центре деревья еще голые. Кусты уже зеленые. Хочу писать заметки о растениях для книги. Какой мягкий и свежий весенний воздух был вчера — как на море!

Запись в Дневнике. 30 марта, суббота. 1935 год

<…> Каштаны в парке только распускаются. Листочки еще маленькие.

Запись в Дневнике. 1 апреля, понедельник. 1935 год

<…> Вчера мы были в Кью, и в качестве заметок о растениях я скажу, что вчера был идеальный день для цветения вишни, груши и магнолии. Одни цветы прелестно-белые с черными сердцевинами, другие фиолетового оттенка, только что распустившиеся. Их все больше. Желтые кусты, нарциссы в траве. Прогулялись по Ричмонду, долго ходили вокруг прудов.

Запись в Дневнике. 27 июня, четверг. 1935 год

<…> Я поднялась на крышу с Эндрюсом и увидела весь Лондон — великолепный мегаполис, такой ухоженный и нарядный, такой небританский и космополитичный по ночам в том квартале: вот Оксфорд-стрит, вот Гайд-парк, вот новый жилой дом на Лайонс-плейс. И площади Вест-Энда, и продолговатые, освещенные белым и желтым светом, огрубевшие нарядные «лица» офисов, шпилей и кранов; впечатляющее зрелище, очень милое, будто маленькое угловатое личико мистера Гинзбурга, такое лучезарное, — полагаю, я и правда была впечатлена. <…>

* * *

Постепенно наступили зловещие годы, предшествовавшие Второй мировой войне, с их поначалу вялым, а затем пугающе стремительным развитием событий. После смерти друзей Вирджинии пришлось пережить очень многое и в личной жизни: собственную, а затем неожиданную и потому еще более тревожащую болезнь мужа; не

менее выбивающие из колеи последствия нестабильности собственной психики. Но, несмотря на ужасы и горести этих лет, в «Дневнике» Вирджинии отнюдь не безрадостная, унылая хроника. Потребность писать — фиксировать события и реальность — достаточно часто спасала ее от отчаяния; природное любопытство и способность наслаждаться жизнью, а также удовольствие, которое она получала, излагая свои наблюдения, делают страницы «Дневника» живыми, наполненными энергией и яркими описаниями. В эти зловещие годы она пишет весьма необычный роман «Флаш» — историю, рассказанную собакой о своих хозяевах, чете английских поэтов XIX века Браунинг; «Годы» — семейную сагу, эссе «Три гинеи». Оно, написанное в 1938 году, стало обвинительным актом, выступлением против фашизма и того, что Вулф описала как «повторяющуюся склонность патриархальных обществ навязывать репрессивные общественные нравы с помощью насилия».



Вирджинии Вулф, 1939 год

Запись в Дневнике. 23 июня, среда. 1937 год

После прочтения шедевра «Любовь за любовь» [Конгрива] пишется с трудом. Я и не подозревала, насколько пьеса хороша. И какой восторг испытываешь, когда читаешь такие шедевры. Превосходный незыблемый английский язык! Да, всегда нужно держать под рукой классику, чтобы иметь возможность опереться на нее. Не могу описать свои чувства; завтра мне придется изложить их в статье. Не могу я взяться и за стихи бедняжки Розмари, как следовало бы в преддверии сегодняшнего вечера.

Но хватит… Вчера я ходила по магазинам, накупила мелочей в *Selfridges*; днем стало очень жарко, а я была в черном; удивительные погодные перепады этим летом: то буря, то жара, то холод. Вернувшись домой, я увидела длинную вереницу беженцев, словно караван в пустыне; они шли через площадь — испанцы из Бильбао, который, надо полагать, пал. У меня на глаза почему-то навернулись слезы, хотя никто не выглядел потерянным. Бредущие дети; женщины в

дешевых лондонских куртках и ярких платках на голове; молодые мужчины — все они несли дешевые чемоданы либо ярко-синие эмалированные чайники и огромные кастрюли, наполненные, полагаю, вещами от какой-нибудь благотворительной организации; шаркающая процессия бежавших от войны людей, которые вынуждены таскаться по Тависток-сквер, по Гордон-сквер, а потом куда? Странное зрелище — они как будто знали направление; наверное, их кто-то вел. Один мальчик болтал, а остальные сосредоточенно слушали, как люди в походе. Полагаю, это и есть причина, по которой мы не можем писать так, как Конгрив.

* * *

Упоминаемый в роли образца писательского таланта **Уильям Конгрив** (1670–1729) – английский драматург эпохи классицизма – стоял буквально у истоков британской комедии нравов и был прозван «английским Мольером». Конгрив в своих пьесах создал яркие и объемные образы англичан самых разных социальных слоев, не щадил никого – ни пуритан, ни аристократию и писал

о вечных человеческих недостатках: тщеславии, жадности, подлости, эгоизме. Он утверждал, что «законы комедии обязывают комедиографов изображать порочных и глупых людей для того, чтобы она отвечала своему назначению».

Бильбао (город на севере Испании, в Стране Басков) пал 18 июня 1937 года под натиском восставших испанских войск, но около четырех тысяч детей были заблаговременно эвакуированы на линкоре *Royal Oak*, высадившем их в Саутгемптоне 23 мая. Позже беженцы были распределены по различным загородным центрам, и группа, которую заметила Вирджиния, предположительно шла пешком от одного железнодорожного вокзала к другому. И самое главное – несколько дней спустя в Испании погиб любимый племянник Вирджинии – сын Ванессы Джулиан Белл, присоединившийся к республиканцам во время гражданской войны в Испании. Он водил карету скорой помощи и был смертельно ранен осколком снаряда…

Запись в Дневнике. 31 января, вторник. 1939 год

Вчера был замечательный день. Ни с кем не виделась. Доехала на автобусе до моста Саутуарк. Прогулялась по Темза-стрит; увидела лестницу, ведущую к мосту. Спустилась — там веревка. Обнаружила, что берег Темзы внизу, за складами, усеян камнями, кусками проволоки, скользкий; корабли стоят у моста (Саутуарк? — нет, у того, который рядом с Тауэрским). Очень скользко; стены складов покрыты коркой, поросли сорняками, изношены. Видимо, их затопляет во время прилива. Тогда был отлив. На мосту глазели люди. Идти трудно. Это место кишит крысами; река, огромные цепи, деревянные столбы, зеленая слизь, проржавевшие кирпичи, крючок для пуговиц, выброшенный приливом. Пронизывающий холодный ветер. Подумала о беженцах из Барселоны, идущих 40 миль [≈ 64 км], у одного был сверток с ребенком. Отправилась в Тауэр. Сделала круг; обнаружила церковь Святого Олафа на Харт-стрит, церковь Пипса; слишком холодно, чтобы исследовать; бросила по переулкам

Фенчерч-стрит в [районе] Биллингсгейт; прошла через рынок Лиденхолл. <…>

* * *

Сэмюэл Пипс (1633–1703) – английский чиновник морского ведомства, автор знаменитого дневника о жизни лондонцев периода Реставрации Стюартов. Пипс жил на улице Ситинг-лэйн, проходящей к югу от церкви Святого Олафа, в которой он регулярно молился. Церковь была в значительной степени разрушена во время немецких налетов (восстановлена после Второй мировой), и в ней находится бюст его жены Элизабет. Элизабет вышла за Пипса в 15 лет и, следует заметить, была не слишком счастлива в браке с Пипсом – однажды он записал в дневнике, что «после ужина Деб расчесывала мне парик, что привело к величайшему несчастью… ибо жена, неожиданно войдя в комнату, обнаружила девушку в моих объятьях…». Дневник Пипса стал замечательным свидетельством повседневной жизни лондонцев периода Стюартовской Реставрации – Пипс дружил с Исааком

Ньютоном и Робертом Бойлем, Джоном Драйденом и Кристофером Реном, рассказал будущим поколениям и о Великом Лондонском пожаре, и об эпидемии чумы 1666 года, о политике и интригах XVII века, о деталях быта, привычек, обычаев, личных отношений, романов своих современников. Дневник Пипса переведен на разные европейские языки, в том числе и на русский – в переводе он получил название «Домой, ужинать, и в постель».

А в сентябре 1939 года случилось то, что Вирджиния предчувствовала уже несколько лет, — началась Вторая мировая война. 1 сентября нацистская Германия напала на Польшу, и уже 3 сентября Великобритания и Франция объявили ответную войну Германии. Однако ни французские, ни британские войска серьезных попыток вступления в войну не предпринимали, хотя немецкие подводные лодки наносили серьезный урон торговому флоту Британии, — обстановка становилась очень и очень тревожной.

Запись в Дневнике. 24 сентября, воскресенье. 1939 год

<…> Экстренное сообщение: умер Фрейд. Только эти незначительные факты и нарушают монотонный гул о войне. Время от времени мне становится не по себе и хочется потереться спиной о Лондон. Так что надо выйти на террасу, выбросить сигарету и пуститься в бессвязное, хаотичное блуждание по закоулкам разума. <…>

* * *

«Потереться спиной о Лондон» — потрясающее определение взаимоотношений Вирджинии с любимым городом! Хотелось найти у него покой и утешение, тепло, новые идеи — но его будто заколдовали злые колдуны, и он стал грязным, шумным, опасным. Всему причиной война — Вулфы осознавали, что от нее никуда не деться. События накатывали таким страшным и чудовищным валом, что, казалось, привычная жизнь больше невозможна, и надо ждать неминуемой смерти. Враг виделся абсолютно непреодолимым и способным на все — от бомб, падающих на го-

лову, до устройства концентрационных лагерей прямо возле родного дома в сельской Англии. Эти темы всерьез обсуждались в гостиной Вулфов с их родными и друзьями — до Антигитлеровской коалиции было еще очень далеко, и ничто не говорило, что она будет. Среди блумсберийцев всерьез обсуждалась мысль о самоубийстве, чтобы не попасть в лапы фашистов — такая перспектива воспринималась вполне реальной: что могли ждать от нацистов еврей Леонард Вулф и его жена, писатели социалистических взглядов, выступавшие за всевозможные формы свободы человеческих проявлений? В интеллектуальных кругах циркулировали устойчивые слухи о том, что к вторжению немцев в Великобританию в гестапо уже составлены списки евреев, социалистов и интеллектуалов, предназначенных для отправки в концлагерь.

Запись в Дневнике. 22 октября, воскресенье. 1939 год

<…> От войны в Лондоне никуда не деться. Все люди думают только об одном. Все заняты выполнением повседневной работы. Заминки и трудности мешают. Очень мало автобусов. Метро закрыто. Детей нет. Праздно шататься нельзя. Все сутулятся в противогазах. Напряженно и мрачно. Ночью здесь так зелено и темно, что кажется, будто по тротуару вот-вот прошмыгнет барсук или лиса. Возвращение в средневековье: простор и тишина деревни в этом лесу из черных домов. Мигает фонарь. Из темноты появляется пожилой джентльмен. Исчезает. Красный свет такси или фонаря. Люди наощупь крадутся в логова друг к другу. Мы в своем логове болтали примерно по шесть часов в день. Площадь наводнили огромные гусеницы. Ощущение нормальности осадного положения постепенно сменилось страхом — страхом за себя. Мои уши не ведали тишины. Это раздражало и портило настроение.

Запись в Дневнике. 2 февраля, пятница. 1940 год

<…> Я забываю делать выдержки из газет, которые гулко и пусто вторят Би-би-си. Речь Гитлера — речь Черчилля — корабль затонул — никто не выжил — плот опрокинулся — люди гребли 10, 12 или 30 часов. Мало что может всколыхнуть сейчас, когда речь идет о множестве смертей, а не об одной-единственной. Но отключение электричества сейчас гораздо смертоноснее войны. Сначала цены выросли на два, потом на три пенса. Гайки постепенно закручиваются, а я даже представить себе не могу Лондон в мирное время: освещенные улицы; автобусы, несущиеся мимо Тависток-сквер; телефонные звонки; и я, с величайшим трудом выкраивающая себе один или два вечера в одиночестве.

Запись в Дневнике. 16 февраля, пятница. 1940 год

<…> Только что вернулась из Лондона. Жутко холодно. Из-за этого моя запланированная прогулка по людным улицам была короче. К тому же темнота — ни в одном окне не горит свет — угнетала меня. Стоя на улице Уайтхолл, я сказала своим извозчикам: «Домой, Джон» — и поехала обратно в сером, будто предрассветном, безрадостном призрачном свете угасающего вечера в Холборн, а оттуда в свою светлую пещеру, которая мне нравится больше теперь, когда мы переставили кресла. Как же тихо — Лондон безмолвен; огромный бык спокойно лежит на земле.

* * *

Капитулировала Франция, и Гитлер нацелился на Великобританию, одного из главных своих соперников. И 16 июля 1940 года Гитлер издал приказ о вторжении в Британию, которое командование немецких ВВС решило предварить тотальной бомбардировкой. Начались массированные воздушные атаки на крупнейшие

промышленные города страны — Лондон, Рочестер, Бирмингем, Манчестер. Операция «Блиц» стартовала 7 сентября 1940 года и длилась 57 ночей подряд — погибли 40 тысяч мирных жителей, На город было сброшено 12 тысяч тонн взрывчатки в виде бомб и ракет. Сильнее всего от немецких воздушных налетов пострадали бедные районы, такие как Ист-Энд. Бомбардировка трагично изменила облик города: Лондон был разрушен, значительная часть домов и восемь соборов лежали в руинах, полностью или частично были разрушены многие известные достопримечательности, в том числе Букингемский дворец, здание парламента, Лондонский Тауэр и Имперский военный музей. Некоторые районы, такие как Степни, были настолько сильно повреждены, что после войны их пришлось почти полностью восстанавливать. В ноябре 1940 года укрытием для людей снова стало метро — люди прятались на станции «Элефант энд Касл», причем вопреки воле правительства. Поначалу британские власти возражали против превращения метро в убежище по идеологическим и технологическим соображениям — чтобы не способствовать менталитету «глубокого укрытия» и не нарушать работу транспорта. Однако горожане не сдались

(лучше нарушить указания начальства, чем погибнуть) — и станция «Олдвич» была закрыта и переоборудована в постоянное бомбоубежище. На других станциях установили койки, умывальники и туалеты, улучшили освещение. Этот опыт был использован и в других городах — в частности, в Москве.



Мекленбург-сквер

За две недели до начала войны Вирджиния и Леонард Вулф переехали в дом на Мекленбург-стрит, 37 — дом на Тависток-сквер подлежал по

решению городских властей сносу (по иронии судьбы сносить его не пришлось — в него попала бомба, и на его месте после войны был построен новый дом. На нем теперь висит мемориальный знак).

Запись в Дневнике. 10 сентября, вторник. 1940 год

Провели полдня в Лондоне и вернулись — возможно, это самая странная из наших поездок. Когда мы добрались до Гауэр-стрит, там стоял шлагбаум с указателем объезда. Никаких признаков повреждений. Но когда мы подъехали к Даути-стрит, там уже собралась толпа. Мисс Перкинс высунулась в окно. Макленбург-сквер огорожена. Стоят охранники и никого не пускают. Примерно в час ночи в дом, стоящий в 30 ярдах от нашего, попала бомба. Еще одна упала на площадь и не взорвалась. Мы обошли дом сзади. Постояли под окнами Джейн Харрисон. Обломки еще дымились. Огромная груда кирпичей. Возле нее — люди, которые прятались в своих убежищах. На голых стенах сбоку висели обрывки ткани. Качающееся зеркало. Как будто выбили зуб — точное попадание. Наш дом не пострадал. Ни одно окно не вылетело — возможно, сейчас их уже выбило взрывом. Видели, как Сэйдж Бернал с повязкой на руке прыгал по кирпичам — кто там жил? Полагаю, обычные юноши и девушки, кото-

рых я привыкла видеть из окна; жители квартир, державшие цветочные горшки на балконах, где они часто сидели. А теперь все разлетелось на куски… Работник автомастерской, находившейся сзади, с затуманенным взором и нервным тремором рассказал нам, что его взрывом выкинуло из кровати; пришлось укрыться в церкви, где, по его словам, было жестко и холодно сидеть, а на руках еще и пришлось держать маленького мальчика. «Я ликовал, когда прозвучал отбой. У меня все болит». Он рассказал, что немецкие самолеты уже три ночи пытаются разбомбить вокзал Кингс-Кросс. Они разрушили половину Аргайл-стрит и магазины на Грэйс-Инн-роуд. Потом подошел мистер Притчард. Он воспринял новости спокойно, даже слишком. «У них хватает наглости говорить, что это принудит нас к миру!» — сказал он. Он наблюдает за налетами со своего балкона и спит как сурок. Итак, поговорив с мисс Перкинс и миссис Джексон (бесхребетное насекомое), обе спокойны как удав — мисс П. спала на раскладушке в своем убежище, — мы поехали в [гостиницу] Грэйс-Инн. Вышли из машины и увидели Холборн. Огромная дыра в верхней части Чансери-лэйн. Все еще дымящаяся. Какой-то большой магазин полностью разрушен;

отель напротив похож на пустую скорлупку. В винном магазине ни одного целого окна. Люди стояли у столиков — кажется, им подавали напитки. Груды сине-зеленого стекла на асфальте. Мужчины сбивают оставшиеся в рамах осколки. Падает стекло. Дошли до офиса «New Statesman»; окна разбиты, но здание цело. Вошли. Никого. Вода в коридорах. Стекло на лестнице. Кабинеты заперты. Вернулись к машине. Пробка на целый квартал. Кинотеатр позади музея мадам Тюссо нараспашку; видна сцена; кое-где раскачиваются декорации. У всех домов в Риджентс-парке вылетели окна, но сами они целы. А дальше мили и мили непострадавших улиц — Бейсуотер и Сассекс-сквер целехонькие. Улицы пусты. Лица у редких прохожих отрешенные, глаза затуманены. На Чансери-лэйн я встретила мужчину с пачкой нотных тетрадей. Офис моей машинистки уничтожен. В Уимблдоне завыла сирена — люди начали разбегаться. Мы ехали по почти пустым улицам так быстро, как только могли. Люди распрягали лошадей. Появились автомобили. Потом отбой. Люди, о которых я сейчас переживаю, — это чумазые содержатели ночлежек, скажем, на Хиткот-стрит; им предстоит пережить еще одну ночь; старые несчастные женщины стоят у их

дверей, грязные и жалкие. Что ж, как сказала Несса по телефону, все худшее впереди. Я посчитала себя трусихой, когда предложила не оставаться на две ночи на Макленбург-сквер, 37. Испытала огромное облегчение, когда мисс П. позвонила и посоветовала уехать, а Л. согласился.



Последствия бомбардировки Лондона

* * *

Макленбург-сквер расположена в районе Блумсбери – на север от Тави-

сток-сквер, недалеко от Британского музея. Когда-то этот участок земли принадлежал знаменитой больнице для подкидышей, основанной в 1739 году морским капитаном Томасом Корамом для брошенных на улицах Лондона детей. В 1920-х годах больница переехала из Лондона в сельскую местность, а ее лондонское здание превратилось в музей. Площадь окружена красивыми домами в георгианском стиле, а в сад в центре доступ имеют только местные жители – для широкой публики сад открывается лишь по праздникам. В 1940 году площадь была сильно повреждена бомбами, но потом восстановлена. Восточная сторона сада засажена растениями, произрастающими в Новой Зеландии и специально привезенными в Лондон. Мекленбург-сквер описана в первом детективном романе «Чье тело» Дороти Ли Сайерс, жившей на площади в доме 44 с 1921 по 1922 год.

Упомянутая в дневнике **Джейн Эллен Харрисон** (1850–1928) – историк античности, лингвист, феминистка, преподавательница классической архео-

логии в Ньюнем-колледже Кембриджа. Вирджиния навещала Джейн на Мак-ленбург-сквер, 11 перед ее смертью. А упомянутый следом за ней **Сэйдж Бернал,** который прыгал по руинам после бомбежки, – это известный британский ученый Джон Десмонд («Сэйдж») Бернал (1901–1971) – автор выдающихся научных работ в области кристаллографии и биохимии.

Запись в Дневнике. 13 сентября, пятница. 1940 год

В воздухе витает сильное предчувствие вторжения. Дороги забиты армейскими фургонами с солдатами. Только что вернулись; провели полдня в Лондоне. Налет, предупреждение о котором мы не услышали, начался возле Уимблдона. Внезапный затор на дороге. Люди исчезли. Но некоторые автомобили продолжали двигаться. Мы решили посетить уборную на холме; она оказалась закрыта. Поэтому Л. справил нужду за деревом. Ливень. Вдалеке слышались выстрелы. Увидели убежище из розового кирпича. Единственная интересная часть нашего путешествия — разговор с мужчиной, женщиной и ребенком, которые там живут. Они попали под бомбежку в Клэпхеме. Их дом пострадал. Поэтому они отправились пешком в Уимблдон. Они предпочли недостроенную огневую точку переполненному беженцами дому. У них была походная лампа и кастрюля, чтобы вскипятить воду. Ночной сторож отказался от их чая — у него свой*. Кто-то пустил их помыться. В одном из домов Уим-

блдона сейчас живет только смотрительница. Конечно, для нас у них места нет. К ним же она проявила доброту и пустила отдохнуть. Мы все разговорились. Умная дама из среднего класса, направлявшаяся в Эпсом, сожалела, что не может приютить девочку. «Но мы бы с ней не расстались, — сказали они, словоохотливый эмоциональный кельт и спокойная саксонка. — Пока с ней все в порядке, мы не переживаем». Они спят на опилках. Бомбы попали в палату общин. Он маляр. Очень дружелюбный и гостеприимный. Им нравится говорить с теми, кто приходит. Что они будут делать? Мужчина считает, что с Гитлером скоро будет покончено. Дама в шляпке с перьями сказала, что «никогда». Мы уходили дважды. Снова стрельба. Возвращались. Наконец мы двинулись в путь, выискивая глазами убежища и наблюдая за поведением людей. Доехали до отеля *Russell* [Рассел-сквер, Блумсбери]. Джона нет. Громкая стрельба. Укрылись. Отправились на Макленбург-сквер; встретили Джона, который сказал, что площадь еще закрыта; пообедали в отеле. Быстро, минут за двадцать, решили судьбу издательства — наймем *Garden City Press*. Налет продолжался. Дошли до Макленбург-сквер. Нас не пустили. Джон рассказал нам, что происхо-

дило ночью понедельника. Когда бомбы падают рядом, слышен их свист. Он услышал два свиста. Выглянул. На Гилфорд-сквер полыхал пожар. Попало в газовую магистраль и задело детский приют напротив Стивена. Он решил укрыться. Затем раздался взрыв. Он вышел на площадь и увидел дерево на месте [здания] Байрон-Корт. И огромное облако густой серой пыли. И медленно идущего человека в пижаме. Им было велено покинуть площадь. Позже у какого-то здания суда он встретил девушек с напудренными, как ему показалось, волосами — на самом деле это была пыль. Кого-то спасла железная решетка в подвале. А кого-то, видимо, нет. Они начали смеяться. Он был бледен и дрожал. Оставив его одного под звуки отдаленной стрельбы, они ушли восвояси. На Мэрилебон-Хай-стрит прозвучал отбой. Он постелил на ступеньку тонкий коврик, чтобы я могла сесть. Заглянул офицер. «Готовимся к вторжению», — сказал он, как будто оно произойдет с минуты на минуту.

* * *

Бомбы падали все ближе и ближе ко всему, что было дорого Вулфам, неся смерть, от которой, казалось, невозможно было спастись. Бомба

разрушила и дом, и издательство — Вулфам пришлось перебраться в Суссекс, в Родмелл, где у них был сельский домик. Они перевезли туда оставшуюся часть книг издательства, уцелевшие вещи и выезжали в Лондон только по крайней необходимости.

Запись в Дневнике. 18 сентября, среда. 1940 год

«Нам нужно все ваше мужество» — вот слова, которые пришли мне на ум сегодня утром, когда мы узнали, что на Макленбург-сквер выбило все окна, обрушились потолки, а большая часть фарфора разбилась. Взорвалась бомба. Зачем мы вообще переехали с Тависток-сквер? Что толку думать об этом? Мы уже собирались ехать в Лондон, когда дозвонились до мисс Перкинс, которая все и рассказала. Издательство — то, что от него осталось, — будет перевезено в Летчуэрт. Мрачное утро. Как тут сосредоточишься на Мишле и Кольридже? Повторюсь, нам нужно мужество. Ночью был один из самых ужасных налетов на Лондон. Ждем, что скажут по радио. Но я все равно продолжила работать над «Пойнц-холлом».

Запись в Дневнике. 20 октября, воскресенье. 1940 год

Самым — каким? — впечатляющим зрелищем в Лондоне в пятницу была очередь, состоявшая в основном из детей с чемоданами, возле станции метро «Уоррен-стрит». Это было примерно в 11:30. Мы подумали, что они эвакуируются и ждут автобуса. Но это была гораздо более длинная очередь из мужчин и женщин с большим количеством сумок и одеял, и в три часа они все еще сидели там. Выстроилась очередь в убежище на время ночного налета, который, конечно же, состоялся. Таким образом, если они покидали метро в шесть утра (в четверг был ужасный налет), то возвращались обратно к одиннадцати. Мы добрались до Тависток-сквер. Со вздохом облегчения увидели руины. Три дома, по-моему, просто исчезли. Все подвалы завалило. Остались только старый плетеный стул (купленный, когда я еще жила на Фицрой-сквер) и табличка *Penman* «Сдается в аренду». В остальном — кирпичи и деревянные щепки. Одна стеклянная дверь в соседнем доме уцелела. Виднелся лишь кусок стены моего каби-

нета, а в остальном — развалины, где я написала так много книг. Площадь под открытым небом, где мы провели столько вечеров; место, где мы устраивали вечеринки. Отель не тронут. Дошли до Макленбург-сквер. Снова мусор, стекло, черная мелкая пыль, штукатурка. Мисс Талбот и мисс Эдвардс в брюках, комбинезонах и тюрбанах подметают. Я заметила, что у мисс Т. такой же тремор, как и у мисс Перкинс. Конечно, они чрезвычайно дружелюбны и радушны. Оживленная бессодержательная беседа. Из пустого в порожнее. «Так жаль, что у нас не было ее визитки… чтобы избавить вас от шока. Это ужасно…» Наверху она подперла для нас покосившийся книжный шкаф. Весь пол в столовой усыпан книгами. Моя гостиная усыпана стеклом из секретера миссис Хантер и т. д. Только в общей гостиной уцелели почти все окна. Через них задувал ветер. Я начала искать дневники. Что мы смогли вывезти на своем маленьком автомобиле? Дарвина, серебро, немного стеклянной и фарфоровой посуды.

* * *

Роуз Талбот и **мисс Эдвардс** работали клерками в офисе *Dollman & Pritchard*, фирмы, арендовавшей офис в том же

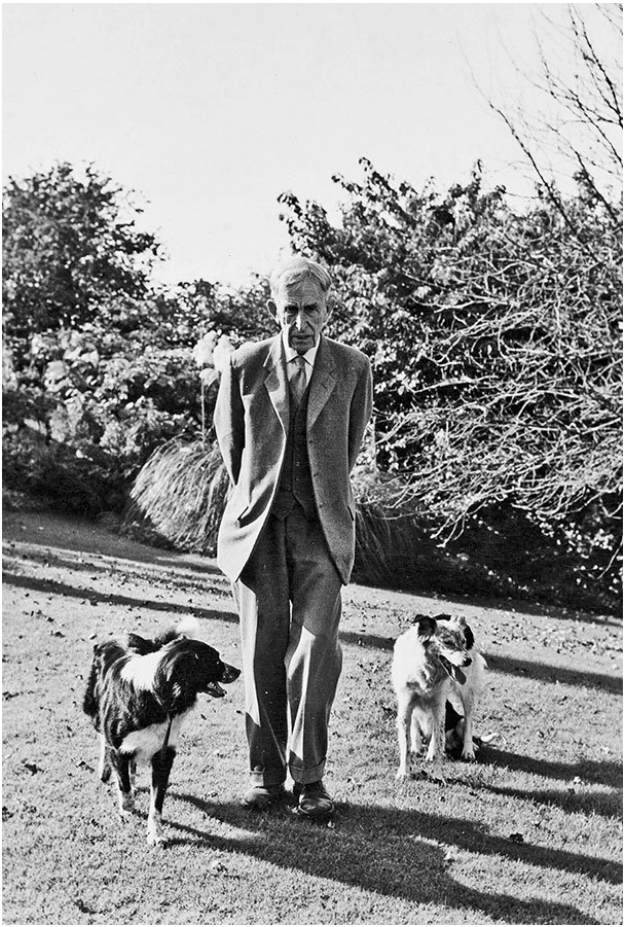
доме на Макленбург-сквер. **Мэри Хантер** (1857–1933) вышла замуж за Чарльза Хантера, богатого угольщика, и после его смерти в 1916 году растратила огромное наследство на роскошные развлечения, на писателей, музыкантов и художников, особенно на Джона Сарджента. Расточительство погубило ее. Вирджиния Вулф купила «большой старинный секретер из розового и атласного дерева» на распродаже ее имущества.

Запись в Дневнике 29 октября, вторник. 1940 год

<…> Вместо того чтобы мыть голову, я опишу здесь (у меня ушло 10 минут на то, чтобы добавить новые листы в эту тетрадь) один лондонский день. Поездка на поезде. <…> Поезд роскошный и быстрый. Сели на автобус № 18. Очень мало новых разрушений. Город выглядел нетронутым. Дул ровный ветер. Прошлись пешком — весь наш район в ямах и шрамах. В доме на Тависток-сквер, 52, все еще висят панели, по меньшей мере три штуки. Мусорщик обсудил с нами Салли [собаку] — старую добрую верную старушку Л. Купили шерсть. И отправились домой. Подобрали с пола несколько книг. Ели холодные сосиски в холодной комнате. Притчард вызвал своего садовника с лопатой. Сокрушался по поводу нашего ковра под слоем штукатурки и стекла. Леонард пошел к фабианцам. Я как-то неправильно посмотрела на часы и на полчаса опоздала на Пикадилли — пришлось прыгнуть в такси. Церковь Святого Якова разрушена, как и магазин напротив. Руины на Лестер-сквер. Кратер перед Букингемским

дворцом. Уилли [Робсон] и Леонард стояли у офиса фабианцев лицом к статуе Виктории. Сигнал воздушной тревоги. Укрылись на 45 минут. Никаких ударов. Вернулись домой. И какое же счастье — несколько писем; одно из них от женщины-садовода, которая никогда не читала ничего более отвратительного, чем страница 34 «Роджера Фрая»; книга (Э. Ф. Бенсона) из *Times*; в камине горят дрова, и на этом точка. Сегодня я ездила на велосипеде в Ньюхейвен — город мертвых. Магазины пусты как склепы; люди молчаливы и угрюмы. Пекарь говорил о налете: вчера в 17:30 прилетели 25 немецких самолетов и сбросили 25 бомб; дома разрушены; погибла маленькая девочка. «И ни одного *Spitfire* поблизости…» Мрачные последствия очередной бомбардировки. Домой вернулись через Тарринг-Невилл. Прекраснейший вид на низину.

* * *



Леонард Вулф. Страница из личного альбома Вирджинии Вульф

> Из книжного клуба *Times* Вирджинии прислали последнюю книгу «Последнее издание: неофициальная автобиография» английского писателя Эдварда Фредерика Бенсона (1867–1940). А *Spitfire* – это британский истребитель времен Второй мировой войны.

Переехав в деревню, Вирджиния почувствовала сначала облегчение — здесь бомбардировки были относительно редкими, ее радовала природа и прекрасные виды. В домике под названием «Монашеская обитель» они с Леонардом часто жили летом — именно здесь были написаны многие книги, здесь она заканчивала свой последний роман «Между актами». Но хрупкое равновесие долго не продержалось — все вокруг отчаянно ждали вторжения немцев и кошмара, который оно должно было принести (если бы Вирджиния могла заглянуть в будущее: вторжение так и не состоялось, немцы не решились высадиться в Англии — британцам удалось выстоять в битве); дом и любимое издательство, дело всей жизни, были, казалось, навеки разрушены — последним

ударом стал холодный прием биографии Роджера Фрая со стороны коллег. Не помогали ни прогулки, ни забота Леонарда, ни попытка начать автобиографию — все рассказы и эссе этого времени остались незаконченными. Вирджиния всю жизнь страдала от нервных срывов — и депрессия накрыла ее снова в конце 1940 года. И вот последняя запись о любимом Лондоне — Вирджиния прощается с городом, которого больше нет.



Вирджиния Вулф, июнь 1939 года

Запись в Дневнике 15 января, среда. 1941 год

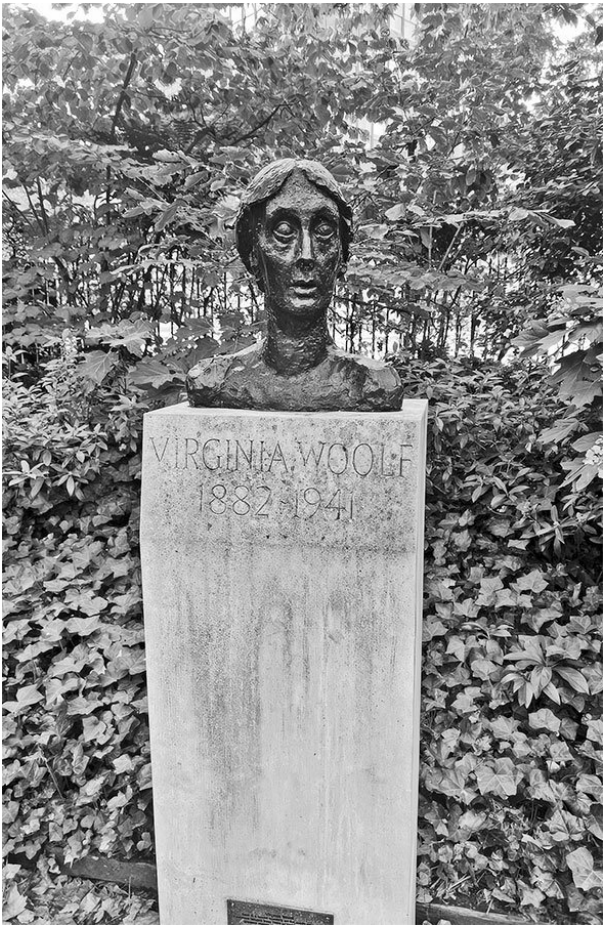
<…> В понедельник мы были в Лондоне. Я пошла на Лондонский мост. Посмотрела на реку; очень туманно; тут и там клубы дыма, возможно от горящих домов. В субботу был еще один пожар. Потом увидела выщербленную стену; один угол здания поврежден, а другой разрушен; банк; монумент; попыталась сесть в автобус, но у очередной преграды сошла, а водитель второго автобуса посоветовал мне идти пешком. На дорогах затор из-за разрушений. В общем, добралась на метро в Темпл и бродила там по заброшенным руинам моих старых площадей, разбитых и разрушенных; старые красные кирпичи превратились в белый порошок; немного напоминает строительную площадку. Серая грязь и разбитые окна; экскурсанты; вся эта цельность разрушена и уничтожена. Зашла в *Buszards* и чуть ли не впервые решила наесться досыта. Индейка и блинчики. Очень вкусно и сочно. Потратила 4 шиллинга. Потом дошла до Лондонской библиотеки, где взяла образцы английской литературы

и послушала историю мистера Кокса о том, как он сидел у кухонного камина в Кингстоне.

* * *

Лондонская библиотека – самая большая платная библиотека в мире. Она основана в 1841 году по инициативе Томаса Карлейля и в противовес консервативным практикам Британской библиотеки – членом Лондонской библиотеки мог стать любой, кто заплатит за абонемент. Президентом библиотеки долгое время был друг Вулфов поэт Т. С. Элиот, а подписчиками – Чарльз Диккенс и Уильям Теккерей.

Фредерик Джеймс Кокс (1865–1955) прославился на весь Лондон тем, что работал в Лондонской библиотеке с 16 лет и до самой смерти. Стоя на входе, он выполнял функции часового и справочной. Лондонская библиотека сильно пострадала во время Второй мировой войны – в нее попала немецкая бомба в 1944 году, уничтожив 16 тысяч книг.


VIRGINIA WOOLF
1882-1941

Памятник Вирджинии Вулф (?)

Вирджиния Вулф 28 марта 1941 года утопилась в реке недалеко от своего дома в Родмелле. Она оставила две прощальные записки — одну для сестры Ванессы со словами, что любит ее и ее детей и что «сражалась с болезнью, но больше не в силах», и другую для мужа, написав Леонарду: «По-моему, мы с тобой были самыми счастливыми людьми на свете».

Но закончим мы не на этой трагичной ноте. Лондон после войны был тщательно восстановлен, все его старые площади по-прежнему радуют глаз, улицы полны народа. Район Блумсбери стал красивее прежнего, растет спрос на книги, мемуары, сборники Вирджинии Вулф, продаются сувениры, футболки, закладки с ее именем — у писательницы сегодня миллионы поклонников, и она наверняка этому рада! Поэтому пусть в конце этого сборника окажется замечательная цитата из эссе Вирджинии Вулф «Наклонная башня», написанного в 1940 году, о преображающей силе творчества и Лондоне:



Скульптурное изображение Вирджинии Вулф, установлено в Ричмонде (Лондон) в 2022 году. Автор — Лори Дизенгремель. Фото А. Русинова

Отрывок из эссе «Наклонная башня» (1940)

<…> Бессознательность, которая, по-видимому, означает, что подсознание спит, — это состояние, знакомое всем нам. У каждого из нас есть опыт бессознательного выполнения работы в повседневной жизни. Допустим, у вас был насыщенный день, и вы осматривали достопримечательности Лондона. Можете ли вы сразу по возращении рассказать, что видели и что делали? Все это размыто и спутано, не правда ли? Но стоит только отдохнуть, отвлечься и заняться чем-то еще, как достопримечательности, звуки и фразы, которые были вам наиболее интересны, всплывают на поверхность, казалось бы, сами собой, и остаются в памяти, а то, что было неважным, кануло в небытие. Так и у писателей. После тяжелого рабочего дня, проделав долгий путь, увидев и почувствовав все, что только можно было, и сделав в своей голове бесчисленное количество самых разных заметок, писатель становится — если может — бессознательным. На самом деле его подсознание работает на пределе своих

возможностей, тогда как разум дремлет. Затем, после паузы, завеса приподнимается и возникает объект — вещь, о которой хочется написать, упрощенная и цельная.

Список литературы

General Editors' Preface, Orlando. Virginia Woolf. Edited by Suzanne Raitt, Ian Blyth. Cambridge University Press.

Co-editor with Helen Southworth (U of Oregon). Woolf and the Art of Exploration: Selected Papers from the Fifteenth International Conference on Virginia Woolf. Clemson U Digital Press, 2006.

Helen Southworth, Elisa Kay Sparks. Woolf and the Art of Exploration. Clemson University, 2006.

Mark Haddon. Two Stories by Virginia Woolf. The History of Hogarth Press, 12 June 2017.

Virginia Woolf. Street Haunting: A London Adventure. Read & Co. Great Essays, 2013.

Virginia Woolf. The Diary, volume I–V, Mariner Books Classics, 1979.

Акройд Питер. Лондон. Биография. М.: Альпина, 2016.

Андрианова В. А., Рокина Г. В. «Плохая Англия» — обратная сторона викторианского общества второй половины XIX века, Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, 2017.

Брэдбери Малькольм. Вирджиния Вулф: Эссе / пер. А. Нестерова // Иностранная литература. 2002. № 12.

Воденников Дмитрий. Ловушка для Вирджинии Вулф // СТОРИ, 2019.

Вулф Вирджиния. Дневники / пер. А. Русинов, К. Смирнов. М.: Литрес, 2023.

Вулф Вирджиния. Полное собрание малой прозы / пер. А. Русинов, К. Смирнов. М.: Литрес, 2025.

Ганиева Е. Вступительная статья / Вулф Вирджиния. Избранное. М.: Художественная литература, 1989. С. 3–22.

Залеток Н. В. Женское образование в Викторианской Англии. Национальный педагогический университет им. Драгоманова, 2018.

Кошелев В. С., Оржеховский И. В., Синица В. И. / Всемирная история Нового времени XIX — нач. XX в. 1998.

Кулик Мария. «Лондон, ты — драгоценность из драгоценностей»: 5 мест города, связанных с жизнью и творчеством Вирджинии Вулф // ZIMA Magazine. 25 января 2022 г.

Ливергант А. Я. Вирджиния Вулф: моменты бытия. АСТ, 2018.

Пикард Лайза. Викторианский Лондон. Издательство Ольги Морозовой, 2011.

Ситникова Е.А., Соснин А.В. По Лондонским маршрутам Вирджинии Вулф // Вестник Пермского университета. 2014. Вып. 1.

Соболева Мур. Свобода, мода и осознанность Вирджинии Вулф // BluePrint. 25 января 2022 г.

Хильман Полина. Вирджиния Вулф. Не надо бояться // Эгоист. 27 января 2024 г.

Источники в сети Интернет:

Hampstead Garden Subur Heritage. https://www.hgsheritage.org.uk/

Hodge's History of Cats A History of Cats by Kirsten Tambling, 2014. https://www.drjohnsonshouse.org/

How Bazalgette built London's first super-sewer. Written and researched by Alwyn Collinson, 2018. https://www.londonmuseum.org.uk/

Kew Gardens. https://www.kew.org/

Re-enacting Virginia Woolf's 'Street Haunting: A London Adventure'. https://sietskeroorda.com

Ten Secrets Of Hampton Court Palace. October 16, 2024. https://livinglondonhistory.com/

The Charles Dickens Page. https://www.charlesdickenspage.com/

The First World War air raids on London. https://www.londonmuseum.org.uk

The Great Horse Manure Crisis of 1894, Ben Johnson. https://www.historic-uk.com/

The Month in Modernism, Echoes of Childhood: The Hogarth Press, the Hyde Park Gate News, and Virginia Woolf's Material Legacy. https://modernistreviewcouk.wordpress.com/

The Royal Parks, The Royal Parks in Literature, 6 октября 2023 г. https://www.royalparks.org.uk/

Virginia Woolf and Hogarth House. https://richmond.gov.uk/

Virginia Woolf's Tour in London. https://artsandculture.google.com/